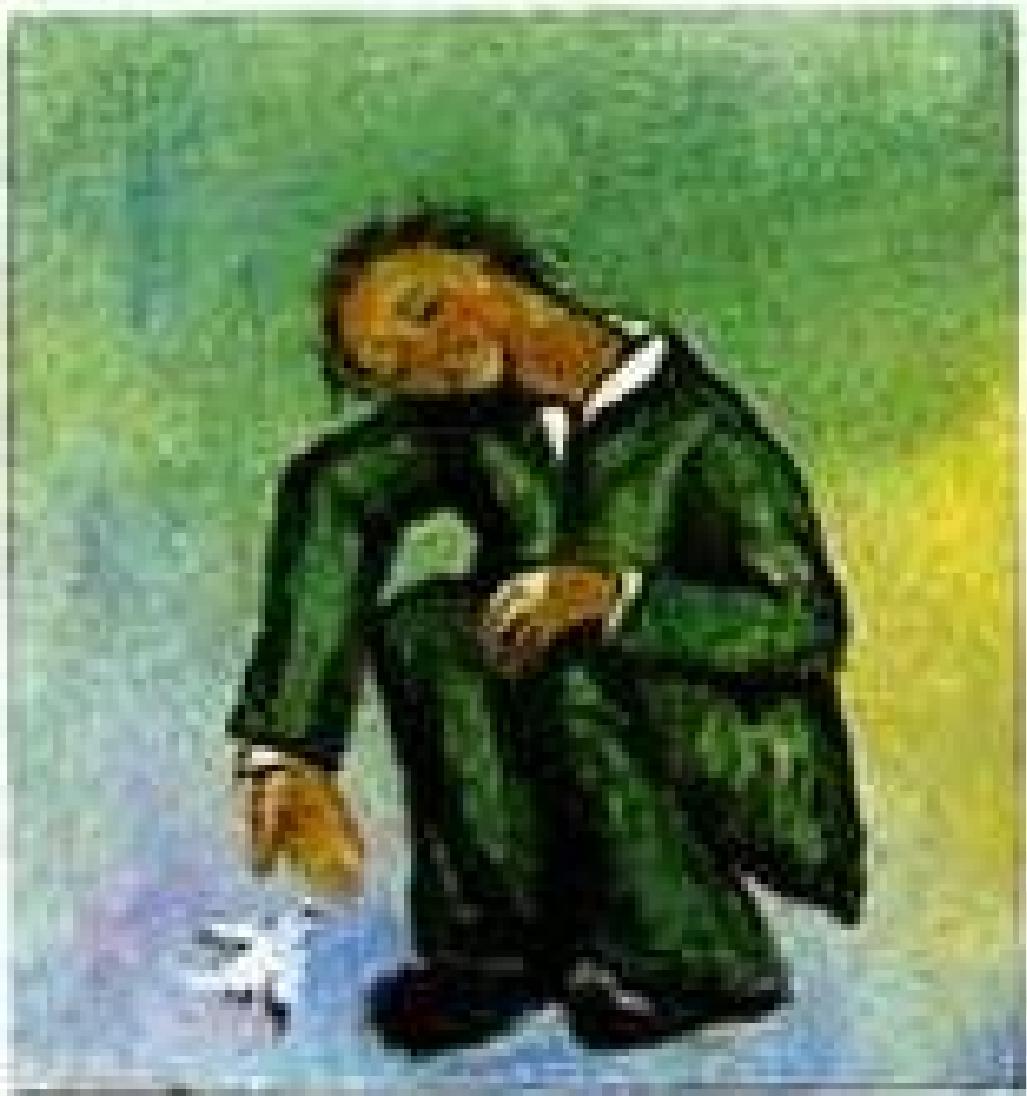


Клоун с Осенью в Сердце



А. Енгибаров

Леонид Енгибаров

КЛОУН С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ

Автобиография

Родился я в Москве. Девять лет провел на ринге. Заповедь «ударили по правой щеке, подставь левую» считаю в корне ошибочной.

Сменил множество профессий, и в двадцать два года мне оставалось только стать актером. Писать начал тогда же, поневоле. Никто из авторов не хотел со мной работать, пришлось самому стать сценаристом. Понравилось. Теперь с ужасом думаю: а вдруг явится настоящий сценарист...

Люблю: море, осень... Винсента Ван Гога.

Боюсь: благополучия.

Главное для меня в жизни — чувствовать ответственность за все совершающееся вокруг нас.

Не отрекаются, любя, хоть жизнь кончается и завтра

«Любой зритель имеет право принести с собой молоток, гвозди и вогнать их в гроб фокусника для дополнительной убедительности». Из афиш, зазывающих на уникальное выступление американского иллюзиониста Гарри Гудини.

Личность и толпа... Актер и зритель... Жизнь и смерть.

Почему-то каждому зеваке, пришедшему на представление, непременно хочется загнать лицедея в тупик, уличить его в фальши и уж, конечно, забить свой гвоздь в гроб на сцене. Тогда это действительно щекочет нервы, тогда на самом деле перехватывает дух от надежды, что теперь-то, наконец, актер проиграет. Вскроется его шарлатанство и толпа всласть освистает неудачника. Реальной гибели актера не хочет никто, все убеждены в условности зрелища, но вот помешать ему готовы всерьез, по-настоящему. Этот неравный поединок, как ни странно, гораздо легче выиграть именно шарлатану, тому, кто готов к обману и идет на него сам. Такие быстро находят общий язык с публикой, которая рукоплещет невскрытой фальши, убедившаяся и довольная, что актер «свой». Того же, кто, ступая на высоко натянутый канат, решительно и честно отстегивает страховочную лонжу, кто искренне и бескомпромиссно бросает своим мастерством вызов реальной смерти, толпа не может понять. Она готова замереть от восхищения, но по привычке ищет подвоха, цинично шушкуется, отгоняя от себя осознание собственной никчемности и страха. И горе тому кумиру, кто в своей прекрасной борьбе с Человеческой Слабостью дал сбой, споткнулся,

пусть выжил, но оплошал. Таких ошибок ему не прощают.

Цезарь, великий Гай Юлий Цезарь, могущественный и грозный, давший миру сверхлаконичный взгляд на разрешение любой конфликтной ситуации: «Пришел. Увидел. Победил», и тот бледнел перед толпой, невероятно боялся, что будет растерзан ею в минуты своей слабости, когда полководца подстережет очередной приступ эпилепсии...

Впрочем, вернемся в день сегодняшний, где отгремели исторические битвы и в жизни все меньше остается места подвигу. Хочется продолжить — пришел век любви и гуманности, терпимости и взаимопонимания. Увы, нет. Толпа всё та же. Всё также презирают ее и зависят от нее воины и актеры. Все также любят людей продвинутые любовью сострадательной и прощающей. Дарят себя целиком публике, которая всегда в стороне и в любой момент готова покинуть зрительный зал, где разыгрывается очередная трагедия какого-нибудь очередного чудака. Но в том-то и дело, что любой «чудак» внеочередной. Это за ним всегда выстраивается очередь последователей, подражателей и почитателей. Потом, когда его уже нет на сцене...

Так шагнул на арену цирка Леонид Енгибаров. Этот талантливый актер сразу обезоружил толпу, просто обратился к ней со словами: «Мой зритель, я верю в то, что ты должен быть добрым». Клоун трепетными движениями подрагивающих от волнения рук осторожно «достал» из своей груди бьющееся сердце, тут же вдребезги разбил его на тысячи пылающих кусочков и раздал все до единого притихшей публике.

«Любовь — это Пришел. Увидел. Сдался».

Обескураженный зритель дрогнул. В ответ на арену полетели букеты, обрушился шквал аплодисментов, а Леонид, собрав в охапку цветы, стал бросать их обратно в зал. Затем клоун тихо лег на краешек арены, положил голову на сложенные ладошки и «заснул» под гром признания, как бы показывая, что это самый сладкий из снов — сон славы.

Енгибаров отдал себя всего, страстно желая получить в ответ Любовь того же порядка, высоты и накала.

«Я умру, если никто не скажет: Люблю!» Да, публика — это тоже женщина. В своем требовании ублажать, в истеричности и непредсказуемых капризах она очень похожа на ту единственную и желанную мучительницу, которая безраздельно владеет сердцем поэта. А Енгибаров был большим поэтом. Поэтом не в смысле профессиональной принадлежности к ремесленникам цеха «соседлавших Пегаса», а по высокому душевному состоянию, по остроте чувствования щемящей сути мироздания. Его необыкновенный темперамент, поразительный по яркости талант давал возможность красноречиво, но без слов, «рассказывать» о грустном и смешном, вынуждал переживать и задумываться, смеяться и плакать. Клоун-мим раздвинул тринацать метров цирковой арены до размеров земного шара, больше — Вселенной. Отдав себя всем, Енгибаров вдруг остался один. Были, конечно были у него и друзья, и временные утешительницы-попутчицы, те, кого Антуан де Сент-Экзюпери называл «залами ожидания серийного производства», но той, которая бы вновь склеила разорванное сердце актера и сберегла бы его в своих чутких руках, не нашлось. Публика не допустила соперницу и не отдала ей сердце Клоуна.

Хотя нет, все же была одна женщина, которая берегла и верно ждала Леонида всю его недолгую жизнь. Она оказалась сильнее беспощадной публики. В этом было что-то непостижимо пронзительное, когда на руках этой пожилой женщины от всерьез разорванного сердца умирал Леонид Енгибаров.

«Мама, налей шампанского! Мне станет легче...» — прозвучали последние слова настоящего артиста.

И первая из женщин — Мать — поднесла сыну хрустальный бокал с шампанским для достойной встречи им последней из женщин — Смерти.

Мастер Андрей Логинов,

Президент Международной Ассоциации клубов КУНФУ «Триада»

Владимир Высоцкий

Енгебарову — от зрителей

Шут был вор: он воровал минуты —

Грустные минуты, тут и там, —

Гrim, парик, другие атрибуты

Этот шут дарил другим шутам.

В светлом цирке между номерами,

Незаметно, тихо, налегке

Появлялся клоун между нами

В иногда дурацком колпаке.

Зритель наш шутами избалован —

Жаждет смеха он, тряхнув мошной,

И кричит: «Да разве это клоун?

Если клоун — должен быть смешной!»

Вот и мы... Пока мы вслух ворчали:

«Вышел на арену — так смеши!» —

Он у нас тем временем печали

Вынимал тихонько из души.

Мы опять в сомненье — век двадцатый:
Цирк у нас, конечно, мировой, —
Клоун, правда, слишком мрачноватый —
Невеселый клоун, не живой.

Ну а он, как будто в воду канув,
Вдруг при свете, нагло, в две руки
Крал тоску из внутренних карманов
Наших душ, одетых в пиджаки.

Мы потом смеялись обалдело,
Хлопали, ладони раздробя.
Он смешного ничего не делал,
Горе наше брал он на себя.

Только — балагуря, тараторя —
Все грустнее становился мим:
Потому что груз чужого горя
По привычке он считал своим.

Тяжелы печали, ощутимы —
Шут сгибался в световом кольце, —
Делались все горше пантомимы,
И морщины — глубже на лице.

Но тревоги наши и невзгоды
Он горстями выгребал из нас —
Будто обезболивал нам роды, —
А себе — защиты не припас.

Мы теперь без боли хохотали,
Весело по нашим временам:
Ах, как нас приятно обокрали —
Взяли то, что так мешало нам!

Время! И, разбив себе колени,
Уходил он, думая свое.
Рыжий воцарился на арене,
Да и за пределами ее.

Злое наше вынес добрый гений
За кулисы — вот нам и смешно.
Вдруг — весь рой украденных мгновений
В нем сосредоточился в одно.

В сотнях тысяч ламп погасли свечи.
Барабана дробь — и тишина...
Слишком много он взвалил на плечи
Нашего — и сломана спина.

Зрители — и люди между ними —
Думали: вот пьяница упал...
Шут в своей последней пантомиме
Заигрался — и переиграл.

Он застыл — не где-то, не за морем
Возле нас, как бы прилег, устав, —
Первый клоун захлебнулся горем,
Просто сил своих не рассчитав.

Я шагал вперед неутомимо,
Но успев склониться перед ним.
Этот трюк — уже не пантомима:
Смерть была — царица пантомим!

Этот вор, с коленей срезав путь,
По ночам не угонял коней.
Умер шут. Он воровал минуты —
Грустные минуты у людей.

Многие из нас бахвались ради
Не давались: проживем и так!
Шут тогда подкрадывался сзади
Тихо и бесшумно — на руках...

Сгинул, канул он — как ветер сдунул!

Или это шутка чудака?..

Только я колпак ему — придумал, —

Этот клоун был без колпака.

Коротко о себе

Вечер 22 апреля 1961 года.

Счастливый вечер. Он навсегда останется у меня в памяти. Кажется, и сегодня я помню его до мельчайших подробностей.

Помню, что днем у меня было ужасное настроение, какая-то подавленность. От волнения накануне плохо спал. Вечером, по своей давней привычке, пошел пешком в цирк. Москва переливалась огнями кинотеатров и магазинов. Шел мокрый снег. Проезжая часть улицы была наполнена бускующими машинами. Они в недоумении таращили желтые фары на мерзкую погоду, перед самым их носом проскачивали торопливые вечерние пешеходы. Я брел по тротуару, подняв воротник, и время от времени стряхивал кивком головы капли воды, собирающейся на козырьке моей кепки.

Когда я увидел огромную, в подтеках, афишу на фасаде цирка, которая извещала о моих гастролях, я пришел в полное уныние. В гардеробной я механически загrimировался и только тогда понял, что сегодня мой дебют, премьера в Московском цирке, который считается, и по праву, лучшим в мире. Я вдруг представил себе, что будет, если я провалюсь! Противный комок встал в горле, но где-то в глубине было другое чувство, чувство спортивного азарта, хорошей спортивной злости, было тело, гибкое, сильное, послушное любой мысли, и было то, что вынашивалось в течение пяти лет, и просто так уступать я не хотел.

Я помню этот вечер до мельчайших подробностей. Я помню, как ко мне за кулисы забежал незадолго до конца спектакля один известный цирковой актер и умолял меня «продержаться, потому что пока все идет колossalно...», а я становился все спокойнее, главное было оставлено напоследок.

Помню ревущий зал после последней клоунады «Бокс» и, что совсем невероятно, вызовы после моего ухода, вызовы, как будто это театр, а не цирк. Смеющиеся лица зрителей, рядами уходящие вверх от барьера манежа, и только одно лицо, залитое слезами, лицо справа в четвертом ряду, лицо моей матери.

Все это я помню, как будто это было вчера, не помню только как я себя вел, что я чувствовал на манеже, осталось в памяти лишь ощущение свободы и счастья.

В 1961 году я не был совсем новичком: к тому времени я уже проработал год на манеже и с

1956 г., правда, нерегулярно, работал на телевидении и эстраде как пантомимист.

Главное, что удалось сделать, если так можно выразиться, — общие контуры репертуара для цирка и для эстрады, а репертуар для клоуна, да и новая реприза, новая пантомима, так дорого стоят автору, кажется, нет такого гонорара, который бы мог окупить его муки, даже если это маленькое произведение рождается на лету.

Сколько стоит за этим часов самоистязания, самобичевания, сколько часов отчаяния от мысли, что ты абсолютно бездарен и последнее, что ты сделал, так и останется последним.

Но не станем утомлять читателя ужасами авторского ада, лучше вспомнить светлое и удачное.

Как-то — это было в 60-м году — мне для программы в цирке необходима была хоть одна новая реприза, иначе просто завал...

Все утро я бродил по городу, и чудесная мелодия Луи Армстронга не давала мне покоя. Я был один: когда я тихонько напеваю, меня почему-то друзья оставляют в одиночестве, разбегаясь в разные стороны и нелестно отзываясь о моих музыкальных способностях. О зависть!

Вечером, перед началом спектакля, я рассказал моим ассистентам — их двое — свою новую репризу. Они рассмеялись и сказали, что в цирке это не поймут. В душе я был с ними уже согласен, но из чувства противоречия, в запальчивости сказал, что они ошибаются, и об этой репризе еще будут писать отдельные рецензии.

В этот вечер я попросил трубача в оркестре сыграть мне что-нибудь в стиле блюза Армстронга и сделал эту репризу. Я оказался прав.

Это старая, как мир, история о том, что несмотря на его явные достоинства, люди не хотят принимать художника, в данном случае всего-навсего акробата. Но когда его техника достигла совершенства, а это видно, зал воздает ему должное... Поздно, в нем убили веру в успех. Он не вернется, а если вернется...

Вот что будет, если он вернется — этого я не знаю, я не могу знать, как поступят мои герои в будущем, я не пророк, я только их автор, я их породил, а как дети будут жить дальше, не всегда зависит только от родителей.

Часто говорят, что автор должен «наблюдать жизнь», «подсматривать». Честное слово, я не знаю, что это такое.

За время моей работы я написал около сорока пантомим и пятьдесят реприз и клоунад для себя и для других актеров, но ни разу не было случая, чтобы хоть один из сюжетов я «подсмотрел».

По-моему, «подсмотреть» сюжет — это все равно что написать натуралистическую, как раскрашенная рыночная фотография, картину и не добавить своего «я» — все «как в жизни» и все фальшиво. Да и не может, по-моему (все, что я говорю, это, конечно, субъективно), существовать сюжет пантомимы или репризы в жизни в «чистом виде», как не существуют в природе в чистом виде редчайшие и дорогие металлы.

Я вспоминал, как мучительно долго я делал пантомиму «Ее день рождения» и, сделав ее, показал, как обычно, своим друзьям. Они единодушно сказали: «Да!» И несказанно удивились, что потом я несколько лет эту пантомиму не играл. Вот о чем она.

Его пригласили на день рождения. Он долго думал и решил подарить ей цветы, нет, цветок, — только на это хватило его сбережений. После многих приключений по дороге и в доме у

виновницы торжества он наконец пробился к ней и протянул Ей свой подарок. Она ответила что-то вроде: «А кто вас пригласил?» Он ушел.

Я долго не мог исполнять эту пантомиму на сцене, долго, пока не забылась боль.

Этот сюжет я, к сожалению, «подсмотрел» в жизни. Конечно, самая большая радость, когда с листом бумаги и ручкой вы кроите судьбы ваших героев и знаете, что они живут и будут действовать согласно воле автора-родителя, как самые что ни на есть настоящие люди. А раз настоящие, то хочется сделать их добрыми и чуткими, отзывчивыми и смелыми, готовыми вступиться за слабого, не дать в обиду невиновного и, конечно, хочется сделать их по-хорошему смешными, похожими на большинство людей на земле.

Немного автобиографических данных. Родители мои никакого отношения к искусству не имели, поэтому старший сын Михаил стал художником, средний — Рачия — театральным режиссером и писателем, младший, т. е. я, до сих пор не может определить, кем стать.

Человек очень часто мечтает приобрести именно то, чего у него нет. В нашей семье в пору моего детства, когда мы жили все вместе, я отличался от всех полным отсутствием юмора, что впоследствии и сказалось при выборе профессии. После долгих мытарств я поступил в Цирковое училище на отделение клоунады.

Жизнь стала казаться мне прямо-таки райской, это и понятно, но до училища я провел девять лет на ринге. Наконец, почувствовав, что никто уже не собирается «поразить уязвимые точки» на моей голове, я, вздохнув свободно, стал грызть горький гранит юмористической науки.

Наше доброе старое училище тогда, в 1956 году, не было таким светлым и красивым, как сейчас, но любили мы его не меньше.

Моим педагогом был Юрий Белов, солидный человек, на два года старше меня и сам еще не окончивший училище. (Сейчас он один из ведущих режиссеров Театра им. Моссовета). Работали мы тогда от зари до зари, поминутно открывая Америки и ежедневно изобретая велосипед. Кстати, один комический велосипед мы действительно изобрели, нет, честное слово, им теперь пользуются многие комики.

После недолгих, но интенсивных теоретических изысканий мы с Юрий Беловым решили, что лучшая школа для такой «звезды», как Енгибарян, это практика.

1 ноября 1956 года я начал свою карьеру пантомимиста и актера. Я выступил в студенческом клубе Московского государственного университета. Успех был огромный.

Единственно, что меня немного огорчило, это то, что сюжет, каким его воспринимали зрители, был совершенно иной, чем тот, который на самом деле я им показывал, а все остальное было прекрасно.

Собственно, этот день я считаю последним в моей прежней жизни и первым в жизни актера и сценариста.

С этого дня все, чем я живу, что меня волнует, так или иначе отражается в моей работе, и теперь моя биография — это репризы, пантомимы, которые я делаю, сюжеты, которые я пишу для кино.

С того памятного дня к моим первым трем пантомимам прибавлялись все новые и новые. Иногда удавалось придумать две или три сразу, а чаще проходили бесплодные недели, месяцы, пока наконец в тумане воображения, среди идей, которые годятся только для домашнего круга, удавалось найти что-то стоящее и вынести на сцену.

Так постепенно рождались пантомимы «Штангист», «Укротитель», «Человек-шлагбаум». Однажды после концерта, точнее одного из первых концертов, я был особенно радостно возбужден и импровизировал для актеров на закрытой сцене. Из этих импровизаций появились пантомимы «По дороге к тебе», «Сегодня у папы свидание».

Для меня, как для пантомимиста, самым важным всегда будет день 1 ноября 1963 года.

(Обратите внимание, опять 1 ноября, и это не последний раз).

В этот день состоялся мой первый сольный концерт пантомимы «О смешном и грустном» в театре.

Как же это произошло — случайно? По-моему, нет!

Это была, если можно так сказать, закономерная случайность.

Окончив в 1959 году училище, я начал работать в цирке коверным клоуном, и хотя судьба меня бросала из города в город, с арены на арену, мелькали Оренбург, Астрахань, Саратов, и навсегда оставались в памяти красавица Одесса, сказочный Krakow и величественный Ленинград, я не забывал о пантомиме, и в каждом из этих городов состоялось по три-четыре вечера пантомимы.

В те же годы я наотрез отказался показывать по телевидению свои цирковые номера, так как считал и считаю, что сделанное и написанное для тринадцатиметрового манежа надо и исполнять там, а главное — лучше всего цирковые номера смотрятся на манеже цирка.

Поэтому по телевидению я выступал и выступаю только со специальной программой (например, «Ревю», «Огонек») или показываю пантомимы. Это привело к тому, что многие зрители знают меня только как мима. Думаю, это не страшно.

Постепенно такая работа привела к тому, что у меня скопилось примерно 23–24 пантомимы и появилась мысль сделать сольный концерт. Когда все уже было готово, я вынужден был уехать с цирком на гастроли в Чехословакию.

Моим товарищам по поездке и мне сразу пришли по сердцу люди этой страны. Кому может не понравиться неистовый, просто армянский темперамент зрителей Кошиц? Я часами мог бродить по улицам Братиславы, и Дунай оказался не таким, как в песнях, хрестоматийным, — просто красивая шоколадная речка в обертке зеленых берегов. И наконец, первая встреча с Прагой.

Разве осмелюсь я хотя бы попробовать передать словами, какой это город! Нет, Прагу надо видеть, а увидев раз, нельзя не влюбиться. И, как все влюбленные, я, тоскуя от встречи к встрече, вглядываюсь в другие города, пытаясь найти в них черты моей печальной строгой Королевы, украшенной венцом Влтавы с колдовскими мостами, но все бесполезно. Прага на свете единственная.

Трудно быть объективным, правильно оценивать свою работу за последние 3–4 года — для этого нужно время, расстояние. Видимо, поэтому я последние три года и ближайший год, на который строю планы, воспринимаю как один длинный сегодняшний день.

В этом длинном дне был международный конкурс клоунады. Счастливые минуты в театре на Забрадли и позже, в 1966 году, в театре Иржи Волькера. Серьезная, настоящая творческая работа еще раз в Московском цирке и многое другое в разных городах, на разных аренах и сценах в теле- и кинопавильонах. Были досадные и обидные неудачи, были падения, буквальные пиления, после которых долгие дни разглядываешь белый потолок.

Но плохое забывается, а думая о будущем, мечтаешь сделать то, что еще не успел.

Почему я, как и многие современные актеры, на арене, в театре и кино предпочитаю молчание? Это неправда. Разве пантомима — молчаливое искусство?

Разве вы не слышите, как стонут руки Марселя Марсо, пытаясь разогнуть железные прутья бесчисленных клеток?

Вас не оглушает рев толпы после каждого «поворота», «трюка», когда мим сражается впервые в жизни с быком во время корриды?

И вас не оглушает свист толпы, когда наш герой терпит неудачу?

Мир пантомимы полон звуков и красок. Вспомните весь в камнях и блестках костюм укротителя из пантомимы «Укротитель тигров» или замасленную спецовку шофера.

Разве нельзя не заметить безвкусный, аляповатый стиль гостиной в пантомиме «Ее день рождения»?

Гремит и грохочет, смеется и аплодирует, шумит вокзалами и поет с эстрады, и тихо шепчет слова любви Огромный Мир, и миму ничего не стоит перенести нас из конца в конец, рассказать о большом и маленьком, трагическом и смешном.

Рассказывать о мире, где живут рядом Добро и Зло, и о том, что человек обязательно победит злое начало в этом мире, в самом себе.

Как трудно быть комиком!

Это знают только сами комики. Жалуемся мы на это постоянно, но...

Однажды, в одном из интервью, мне, кажется, удалось сформулировать эту мысль: «Клоун — не профессия, это — мировоззрение». И уж коль вы так смотрите на мир, чем бы вы ни занимались, вы останетесь клоуном. Мне всегда кажется, что клоунада или комическая пантомима, комический фильм сродни сказке, где может быть и очень страшно, но все абсолютно серьезно и всегда грустно, несмотря на счастливый конец, грустно, потому что кончается сказка.

Планы, планы, они роятся в мозгу, вытесняя один другой и рождая новые.

По-моему, сегодня происходит смешение жанров и не только жанров, но и разных по форме искусств.

Меня сегодня наряду с эксцентрикой, пластическим выражением комического сюжета, волнует цвет. Мне его не хватало на эстраде и в цирке. Свои киносценарии я пишу в «цвете», мне хочется «организовать» цвет, как это сделали Клод Лелюш и Жак Дени.

Мне кажется, огромные возможности и новые приключения ждут моих романтических и смешных героев в цветном мире. Это усилит контраст между трагическим и смешным, выплеснет и раскроет перед зрителем чистые, нежные краски их чувств. Цвет должен стать в комедии дополнительным компонентом, и хочется верить, что тот день не за горами.

Вечер... По своей давней привычке я иду пешком...

Куда? Может быть, меня ждет пыльный павильон киностудии и ослепляющие «диги». Может быть, переполненная чаша цирка, на золотистом донышке которой так тяжело работать, а может быть, знакомая и таинственная сцена, медленно раздвигающийся занавес, обнажающий все самое сокровенное, что есть у тебя на душе... Я не знаю.

Я знаю, что каждое утро я должен проводить за письменным столом, иначе придешь пустым

и тогда уж лучше не выходить из дома.

Осень... я иду по улицам большого города. Уже почти коричневый, мокрый кленовый лист мелькнул под фонарем и упал к моим ногам, вот и еще один отдал все свои силы, чтобы весной появились зеленые побеги. Я влюблена в осень. Осень — это чудесное Завершение Открытий. Открытый, в которых начало Новых Начал.

Диплом

Мать долгих двадцать лет мечтала, чтоб ее сын был «не как все». Сама она родилась и выросла в Марьиной Роще и все у нее было, в общем, как у людей: трудное детство, восемь сестер и братьев, война и муж, погибший на фронте, и голодные послевоенные годы — все как у людей, обычных людей в Марьиной Роще, и страстно она хотела, чтоб сын ее был «не как все».

Правда, фантазия матери в выборе профессии для сына дальше переводчика где-то в посольстве не шла. Да и трудно это, тренировать фантазию, когда тебе едва исполнилось двадцать лет и ты уже шьешь по двадцать часов в сутки варежки с одним пальцем на правой руке — такая уж мода была во время войны — и когда эта мода прошла и Марьина Роща снова зацвела своими скверами, мать за те десять лет, пока не срубили ясени и не поставили серые кооперативные коробки, сумела вырастить сына, на последние гроши покупала книги, на чтение которых у самой не оставалось времени. Надев очки, она шептала малознакомые прекрасные имена на обложках: Куприн, Стендаль, Андерсен, и уж очень трудное, самое трудное Ан-ту-ан-де-Сент-Экзюпери — господи, разве выговоришь!

А сын вырос, по старой традиции Марьиной Рощи, прекрасно бил обеими руками не только на ринге, был дерзок и смел на экзаменах в своем каком-то непонятном то ли театральном, то ли еще каком «искусственном» институте. И когда старые профессора ставили в пример его скромность, талант и воспитанность, они не удивлялись, что его мать кончила всего четыре класса, они видели ее руки.

И для матери наступил счастливый день: сын, который зарабатывал неплохо и на которого не могли насмотреться соседи, наконец сделал для нее главное — принес то, что она долгие годы ждала, то, чего не имела ни она сама, ни ее подруги: диплом о высшем образовании.

Мать стояла во дворе у корыта, а соседка тетка Фрося сидела на скамье и лузгала семечки, когда сын, пританцовывая, шутливо бросил матери бордовую книжку.

— Держи, ма! Все! — и убежал. — Скоро буду-у-уу!

Она вытерла руки, раскрыла диплом, и непрошенные слезы искривили двор и тетку Фросю на лавочке.

— Что там такое? — поднялась тетка Фрося.

— Клоун, — прочла мать дрожащими губами, а тетка Фрося, обнимая ее, сказала:

— Ну чего ты расстраиваешься, небось это тоже профессия.

Шар на ладони

В цирке люди делают сложнейшие трюки. Они летают под куполом, жонглируют десятком предметов и еще стоят на руках, и этому, я утверждаю, особенно трудно и сложно научиться.

И сложно это не только потому, что по ночам у вас будут болеть плечи от бесконечных тренировок, распухать кисти рук и наливаться кровью глаза...

Все это, конечно, тяжело, и все-таки это рано или поздно забывается. Вот только одно никогда не забывается, это когда ты стоишь на двух руках, медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони лежит земной шар.

Жонглер

Гремит барабан, рассыпается сухая дробь, между тремя булавами мечется фигурка жонглера.

— Не урони! Не урони!

Три булавы вылетают из-за спины, высаживают из-под ног, вот они над головой, вот у самой земли, и то бешено крутятся, то будто замирают в воздухе.

— Не урони, как однажды уронил свое счастье. Эти три деревяшки забрали у тебя все, а что дали взамен?.. Но об этом потом. Сейчас твои ладони в кровавых трещинах, и беспощадные прожекторы бьют, до слез бьют по глазам.

— Не урони! Ты жонглер! Сплети еще одно прекрасное кружево, выдумай еще одну невероятную линию, которая мелькнет и исчезнет...

Потом, когда кончится дробь барабана и подойдет к концу жизнь, тебе скажут, что ты был несчастлив в жизни, потому что ты всегда работал, и ни на что другое у тебя не оставалось времени.

Но зато ты делал невозможное — человек, чьи ладони в кровавых трещинах...

Разве это не Счастье?

Ей было тоскливо...

У короля клоунов была девушка, которая никогда не улыбалась. Она была манекенщица. Но ведь это же странно — манекенщица, которая никогда не улыбается!

Нет, улыбалась, но только тогда, когда была с ним, с королем клоунов. Да и то редко. Потому что он надолго забывал ее.

Ей было тоскливо и больно.

Но когда они случайно встречались, она все-таки улыбалась. Оказывается, она просто не умела сердиться на него.

Ведь он король!

Девчонке, которая умеет летать

Ты только не бойся. С тобой никогда ничего не случится, потому что у тебя два сердца. Если в воздухе на секунду замрет одно, то рядом забьется второе.

Одно из них дала тебе твоя мать.

Она смогла это сделать потому, что девятнадцать лет назад сумела полюбить, полюбить... Ты не смеялся, это очень трудно — полюбить.

А второе сердце дал тебе я. Носи в груди мое шальное сердце.

И ничего не бойся.

Они рядом, если замрет на секунду одно, то забьется второе.

Только за меня не волнуйся, мне легко и прекрасно идти по земле, это понятно каждому.

Мое сердце в твоей груди.

Аплодисменты

Каждый вечер в огромном зале я собираю тысячи аплодисментов, тысячи всплесков человеческих рук, и охапками приношу их домой.

Ты сидишь на тахте с книжкой в руках, укрывшись пледом. Я включаю свет, чтобы ты могла разглядеть то, что я принес, и закрываю окно, чтобы они не разлетелись. Аплодисменты заполняют всю комнату, плещутся у твоих ног, фонтанчиками взлетают к потолку, а ты радуешься, как маленькая. Я сажусь в кресло и жду, когда все утихнет и успокоится. Ты продолжаешь играть, и мне становится грустно, потому что всякая игра рано или поздно надоедает.

Я встаю и распахиваю настежь окна, аплодисменты вырываются на улицу и разлетаются... Минута, другая, вот и стих последний хлопок.

Я поворачиваюсь к тебе, хочу, чтоб ты меня разглядела, я устал, я голоден и у меня болят плечи... Но ты ничего не видишь и не слышишь, тебя оглушил огромный зал и закрыл тебя.

Завтра я снова пойду собирать для тебя то, без чего ты уже не можешь жить.

Сила искусства

Умирал старый жонглер Войцеховский. Да, в обычной гостинице, на обыкновенной койке, рядом с обычной больницей, которая была занята своими больничными делами, и

поэтому ей не было никакого дела до старого Войцеховского.

А умирал не кто-нибудь, умирал сам Вацек Войцеховский — «Король трех зонтов»...

Чему удивляться, разве не в провинциальной гостинице умерли Фредерик Леметр, Орленев, Сальвини?

А теперь и Войцеховский.

Он был Королем трех зонтов.

Одесса плакала.

У кровати стояли близкие. Васька — «каучук», Веников — «сатира» и Митрич (помесь сенбернара с лайкой).

Плохо было Войцеховскому. Сердце подпрыгивало еле-еле, как шарик у жонглера.

И вдруг Ваську и Митрича осенила идея. Они бросились по соседним номерам и скоро принесли три разноцветных зонтика. Положили их перед Вацеком и оцепенели.

Вацек увидел зонтики, и у него навернулись на глаза слезы. Мы сняли кепки, а он тихо встал, посмотрел вдаль и горько сказал: «Рано хороните Войцеховского, Короля трех зонтов. Рано!» И пошел в душевую. Все облегченно вздохнули, Митрич залаял, а Васька побежал за пивом. Да, сила искусства — великая сила.

Падение

Когда я разбился, меня положили в «холодную» палату. Оттуда не выходят, оттуда вывозят на лифте. А я хотел уйти из этой палаты по лестнице.

Я пытался вспомнить, ради чего стоит жить.

Ради солнца?

Оно есть у всех.

Ради весны? Ради первого снега? Ради первомайской грозы?

Я выжил. Я вспомнил дрожь твоих ресниц, когда ты прижималась к моей щеке. И понял солнце, весну, первый снег, первую майскую грозу.

Еще хоть раз прижмись к моей щеке.

Квартира

Нет, вы не знаете, что такое чужая квартира. Для этого нужно родиться или вором-«домушником», или артистом цирка, только в этом случае вы поймете всю правоту народной мудрости: «Чужая квартира — потемки».

Представьте себе: вы приезжаете на гастроли с цирком в прекрасный южный город. Что ни

шаг, то фикус, море пахнет аптекой, а из каждой собачьей будки торчат загорелые ноги курортников. Вас встречает администратор, который заикается, суетится, жалуется на нехватку корма для зверей, на погоду и даже на вас, — рановато, дескать, прибыли...

На следующий день утром, после того, как вы переночевали в красном уголке цирка, укрывшись стихотворным плакатом, вас приводят в вашу временную обитель и знакомят с хозяйкой.

— Да... — говорит она, поджимая губы и собираясь с мыслями. Затем вам сообщается, что вы не имеете права на... Следует, примерно, двадцать или тридцать пунктов, в которые не входят лишь связь с африканской контрразведкой и сеансы спиритизма. Вы довольны. Затем скрепя сердце хозяинка вручает вам связку ключей и отмычек и вдалбливает вам в голову сравнительно краткую, но содержательную инструкцию о том, как ими пользоваться.

...Подойдя к двери, вы обнаруживаете справа от нее зарешеченное окошко, просовываете сквозь решетку полуметровый багор, который вам выдан, простым движением от себя, вправо и вверх, отодвигаете острием багра дверной засов и попадаете в прихожую. Запираете на засов дверь и идете прямо (налево соседи) и отпираете дверь на кухню. Ключ от вашей комнаты будет находиться в третьем нижнем ящике кухонного стола, ключ от ванны — под цветочным горшком, ключ от туалета — под холодильником, свет в ванной включается у вас в комнате, свет в туалете — в ванной... Как видите, все очень просто.

Вы благодарите хозяйку за все ее заботы о вас и спешите в цирк на премьеру. Премьера проходит удачно, и это не удивительно — ведь вот уже десять лет вы ежедневно исполняете один и тот же номер.

Двумя-тремя стаканами разливного вина вы отмечаете свою удачу и по ночным улицам спешите домой.

Вы попадаете в свою комнату через каких-нибудь 30–40 минут. Достав из чемодана походную аптечку, замазав и перевязав синяки и легкие раны, полученные в темноте на кухне и в прихожей от острых углов, вы отправляетесь, уже вооруженный опытом, в обратный путь, чтобы запереть все двери на ночь.

Под утро приходит желанный сон.

Вам снится успех на международном конкурсе клоунады, вы выигрываете Гран-при. Десятки репортеров и фотокорреспондентов, сотни поклонниц буквально разрывают вас на части, они хватают вас за руки, трясут за плечи, дергают за воротник, бьют по щекам...

...Вы открываете глаза, видите участкового милиционера, а из-за его спины выглядывают полуодетые и сердитые люди. Все говорят одновременно, кричат, энергично подталкивают вас, помогая одеться, и ведут в ближайшее отделение милиции.

Через полчаса приезжает на выручку администратор со скорбным лицом, который жалуется на ишиас, на судьбу и на вас за то, что вы хоть и правильно запомнили номер дома и квартиру, но перепутали улицу.

Миллионер

Иван стал миллионером.

Знаменитый солист циркового джаз-ансамбля лилипутов, самый маленький «ударник» в мире

(рост — 117 сантиметров) — миллионер! Об этом сообщила инюрколлегия.

Иван Забияка (настоящая фамилия — Дятлов) стал обладателем трех миллионов долларов, оставленных ему как единственному представителю старинной купеческой династии Дятловых.

Эта заокеанская весть пришла перед началом спектакля. Тонкими голосами лилипуты создавали атмосферу птичника, в котором кудахтал басом бывший борец, руководитель коллектива:

— Иван, обмыть надо бы, чтоб все, как у людей.

Иван, симпатичный курносый малыш с прямыми прядями длинных льняных волос, небрежно крикнул:

— Дон Диего Альварес, по прозвищу Быстрый!

Дон Диего, долговязый ассистент, всегда готовый к услугам, вырос из-под барабана. Забияка выдал ему всю свою наличность.

Представление прошло «на ура», зрители не хотели отпускать Ивана Забияку за его веселую песенку:

Не тону в воде, не горю в огне

Потому что ты улыбнулась мне.

Наутро болела голова, но ему не надо было идти на репетицию. Какой же дурак будет работать, если он миллионер?

Вчера труппа прощалась с Иваном. Совсем! Навсегда!

Не будет теперь «жлобов» администраторов, не будет больше чужих квартир-клоповников, бутербродов наспех, миллиона добрых улыбок, цветов, криков «браво», не будет « заводной» работы, когда не замечаешь, как летят часы... Ничего этого никогда больше не будет.

— Молодой человек, — вывел Забияку из задумчивости человек в форме, сидевший напротив. — Вы оставляете все деньги себе или часть жертвуете на что-то?

— Нет, нет! — сказал Забияка. — Я забираю все! Да, да, все три миллиона, и покупаю себе на 15 лет постоянное место ударника Ивана Забияки.

Ладошками рук он ритмично застучал по столу, и стаканчик для карандашей и две чернильных крышки подхватили его песенку:

Не тону в воде, не горю в огне,

Потому что ты улыбнулась мне...

Как стать клоуном?

В последнее время эта профессия приобрела особую популярность.

Во-первых, она приносит необыкновенно обильный урожай медалей, но главное — лаврового листа (столь дефицитного на наших рынках).

Уверен, что жены Карандаша, Попова, Никулина за этим продуктом на рынок не бегают, а это уже кое-что!

Во-вторых, всех привлекает общедоступность этой профессии, поэтому автор, в какой-то мере являясь в прошлом причастным к цирку, хочет дать несколько полезных советов толпам молодых людей, решивших посвятить себя древнему искусству клоунады.

Вот качества, которыми должен обладать человек, одевший большие башмаки и клетчатые штаны:

Юмор должен начисто отсутствовать, так как человек, наделенный чувством юмора, не только не станет клоуном, но даже не сможет загримироваться.

Его начнет разбирать смех, начнут душить колики — как он, вполне нормальный человек, на свой нос kleit огромную красную грушу с лампочкой внутри; он не выдержит, увидев себя в зеркале в зелено-рыжем парике. Клоун должен быть абсолютно серьезным человеком.

Жизненный опыт должен быть как можно более обширным. Вы должны переменить десятки профессий, чтобы убедиться в своей полной непригодности для любой работы и службы... И тогда выход один — на арену!

Здоровье должно быть отменное, богатырское, жаботинское, так как в цирке вас подстерегает масса сюрпризов.

Вы будете дышать пылью, поднятой метлами униформистов.

На вашу голову будут падать с купола трапеции, блоки, гайки и другие предметы с плохо закрепленных воздушных аппаратов. За кулисами вас будут кусать собаки и медведи, готовящиеся к своему выходу, а поэтому очень чувствительные и нервные.

В цирковом буфете вас будут так кормить... лучше заранее наметить часы для посещения терапевта.

Семейное положение. Клоун обязательно должен быть женат. Тогда у него не будет несчастной любви и в его творчестве не будет темы «Смейся, паяц, над разбитой любовью», а это значит, ему уже обеспечена благожелательная критика.

Способность к творчеству клоуну иметь совершенно не обязательно, даже наоборот, клоун должен быть своим, простым (безо всяких «измов», склонностей и колебаний) парнем. Он должен часто повторять истины: «Цирк есть цирк!», «Мы не опера, мы цирк», «На руках стоишь — хлеб ешь» и т. д.

И лишь после этого клоун прослынет патриотом цирка и приобретет среди коллег много друзей.

Репертуар. Эта проблема несущественна и проста. Еще ни один клоун не имел собственного репертуара.

Относиться к прессе клоун должен сурово, гуманно, восторженно, угрюмо и богобоязненно. Журналисты это любят, особенно последнее. В глазах журналиста нормальный клоун должен выглядеть этаким тапиром (см. Брема, том А, стр. 73, с 4 строки сверху до 21 снизу, изд. С.-Петербург, 1911 г.), т. е. очень необыкновенным.

И тут наступает самый щепетильный момент: должны ли вы писать сами статьи, эссе и т. п.? Категорически отвечаю: «Нет», что означает «Да!» Поясняю, что вы не должны писать, вас должны записывать и редактировать.

Вы автор, но рядом с вашим именем скромно стоит: «Литературная запись такого-то...» И тогда вам открыта зеленая улица.

Через год появляется ваша первая книга. Вот, на мой взгляд, несколько примеров того, как можно назвать книгу о цирке: «37 лет вниз головой», если вы на ней стояли, или «Возьми меня в руки» — полет, «Всегда в твоих зубах», имеется в виду «зубник», ну и, конечно, если у вас есть основания: «Да, я клоун». Обязательно черные буквы на серебряном фоне... Как мой дорогой читатель понял, этот раздел моих советов наитруднейший. Зато вы сразу становитесь в один ряд с такими людьми, как В. Шекспир, Э. Хемингуэй, Л. Толстой и Е. Сазонов.

В заключение должен сказать, что если у молодого человека есть все эти необходимые качества, то — в счастливый путь!

Его жизнь будет безоблачной, без дурацких мук: что, почему и как?

У молодого клоуна не будет бессонных ночей и сердечных спазм перед премьерами.

И мы все будем ему только, это я говорю совершенно серьезно, только завидовать.

Бой

Я поднялся на помост и перескошил через канаты. Вскинул вверх голову навстречу грохочущему залу.

Через несколько минут гонг. Бой!

Белый квадрат ринга.

Три ряда канатов.

Стена.

Самая непроходимая, пока решится: победа или поражение. Четыре угла, но в них нет спасения. Ты уйдешь в угол, если выиграешь или проиграешь. А сейчас бой, там, на середине. Победа тоже там. Или поражение?

Надо доказать и принять бой, но в голове засел проклятый вопрос: да или нет? Люди создали много ловушек, огороженных разными канатами, непроходимыми стенами и рвами, где решается: победа или поражение.

Пусть так. Я всегда любил свет в центре ринга, самый яркий на свете, любил бой, вот и сейчас я встану из угла и брошусь в центр. Туда, где бой. Еще раз испытать себя и судьбу, и пусть трудно, безумно трудно сегодня выиграть, пусть будет бой и свет — это и есть самое

главное, и это даже важнее победы. Я верю, что выиграю. Вот только потом будет трудно себе признаваться, что еще одной победой в жизни стало меньше. Гонг. Бой!

Победа

«Раз, два...» — отсчитывал судья секунды на ринге, поднося к лицу Олега растопыренные пальцы. Как удары сердца, стучала стрелка метронома на весь огромный зал, усиленная мощными микрофонами. Последние десять ударов, и твое сердце бойца будет остановлено бесстрастными судьями, а ему, сердцу, так хочется биться. И победить. Но сейчас его обнажили, и весь зал, притаившись, слушает: выживет или нет... четыре, пять...

Олег встал на колено, мир перестал кружиться, и можно было разглядеть в темноте за стеной света ряды зрителей, уходящих вверх.

...Семь, восемь... Но Олег уже был на ногах. Он получил право продолжать бой. Грозным рокотом отзывался разочарованный зал.

«Бокс!» — разрубая воздух ладонью, скомандовал судья и отскочил в сторону.

Он, Боб Таск, знал, что теперь они с Олегом во всем равны, по одному нокауту, по одному выигранному раунду, и две минуты на двоих, чтобы выяснить, кто есть кто...

Оба они вышли в финал, оба измотали друг друга и сейчас во всем равны: в скорости, в силе, в техническом умении, равны перед древним и прекрасным искусством бокса, но потому это и искусство — наступает момент, когда одного умения и знаний мало. Нужна еще душевная убежденность в том, что ты отдал для победы все. И человеческая доброта, доброта с большой буквы, которая приносит уверенность солдату и тореадору, летчику и боксеру в своей правоте. Когда исчерпаны все силы в борьбе с равным — победить может только тот, кто идет в бой не ради денег, славы и карьеры, а ради самой радости боя, без которой он не может жить.

Они стоят у канатов, чуть покачиваясь. И вдруг Олег и Боб поняли: проиграет тот, кто сейчас начнет, у кого не хватит сил ждать, тот, кто на миллионную долю меньше уверен в праве на победу. Боб сделал скользящий шаг и неуловимо бросил свою левую руку... удар Олега пришелся точно в подбородок, в тот момент, когда левая противника еще не успела выпрямиться в локте.

Боб упал. Он не слышал десяти секунд, положенных на чашу весов его противника.

Олимпийская победа. Такое даже в наш скоротечный век может быть только раз в четыре года.

Гимн поднял зал на ноги, и они стояли, глядя на парня в центре зала, и каждый думал: какой он счастливый! О чем он сейчас думает? А он вспоминал то, что вспоминают все победители в золотые секунды победы, — то, без чего она, победа, не приходит — любимые глаза, свою старенькую мать и подсолнухи детства.

Девятнадцатилетней

Тебе девятнадцать лет.

Ты играешь в пинг-понг, ходишь с друзьями в бар и болтаешь ногами, сидя на высоком табурете...

Тебе девятнадцать лет.

Девятнадцать лет назад я одержал первую громкую победу на ринге и смеялся в лицо тем, кто печально мне говорил: «Первая победа — это и первый шаг к поражению...»

Тебе девятнадцать лет и почти столько же тому парню, с которым я завтра выйду на ринг. Он сейчас рядом с тобой, а ты от меня далеко-далеко... Огромная лестница в девятнадцать лет разделяет нас, сотни лестничных площадок — ринги, на которых каждый раз сначала я завоевывал право подниматься вверх и поднялся...

Тебе нравится этот парень с покатыми плечами, уверенный в себе, главный соперник знаменитого Н. Это я — Н.

А мне бы хотелось перескочить через все пропасти и лестницы, играть с тобой в пинг-понг и любоваться твоими ногами, когда ты ими болтаешь, сидя на высоком табурете в баре...

Неужели ты не понимаешь, что я не чувствую этой проклятой разницы, не понимаешь, что я девятнадцать лет, со дня первой победы, ждал тебя... Нет, ты не понимаешь и не видишь меня, тебе девятнадцать лет.

Все, уже поздно, мне пора уходить, завтра бой. И я выиграю, обязательно выиграю, раз уж я так безнадежно проиграл.

Двадцать золотых метров

После тяжелой тренировки я сижу в углу зала и сматываю с рук бесконечные бинты. Тело напито усталостью, и мысли тянутся, как утомительные тренировочные раунды. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь светлое, радостное...

За свою жизнь, боксерскую и человеческую, я, как и каждый человек, прошел по многим дорогам.

Были счастливые и трудные, были легкие и никчемные...

И, конечно, из всех дорог я больше других помню дорогу славы, два десятка метров до пьедестала почета, и листья, ладони-листья на ветвях человеческих рук, бьющихся от тысячеголосых криков восторга и ликования, и это было мое сегодня, длинное сегодня до завтра, до послезавтра на все далекие завтра. Было тогда только счастливое, бесконечно счастливое сегодня.

Так думал я в тот день.

Он прошел и стал вчерашним, а сегодня наступило тихое завтра, и совсем не «двадцать счастливых» метров ждут меня впереди. Но я все-таки счастлив, потому что тяжелый путь познаний и преодолений себя, мира, в котором я живу, дороже, чем золотые двадцать метров, которые там, в конце, ждут меня. Ждут.

Когда Мирон Васильев поднялся на ринг, зал приветствовал его аплодисментами. «Ну, заорали!..» — довольный, буркнул Мирон и стал тщательно натирать канифолью подошвы своих ботинок.

Михаил Михайлович Сундуков, или попросту Сундук, тренер Мирона, налил полстакана воды, дал отпить ему глоток и заботливо подставил ведро, куда Мирон сплюнул, прополоскав горло. Сундук любил Мирона.

Он любил его за то, что тот был похож на него, Сундукова, в молодости. Они одинаково понимали бокс. Бокс — это дыхание, удар, напор, и они это докажут: Мирон сегодня станет чемпионом.

Сундук стал давать последние наставления. Они знали этого интеллигента, который стоял в углу напротив. Слово «интеллигент» у Сундука было последним ругательством. «Ты сильнее, дави его, — шептал он Мирону, — но не зарывайся, поймаешь на левой и тогда выкладывайся...»

Раздался гонг, и боксеры сошлись. Все вроде бы складывалось, как хотел Сундуков. Мирон атаковал. Он выложил «интеллигенту» свои козыри — силу, скорость, умение держать удар, но в душе у Сундукова появилась тревога. Нет, он не боялся за Мирона — «его и оглоблей не собьешь»; и то, что Мирон проигрывает немного по очкам, также не волновало тренера. Его тревожило то, что Аксентьев слишком уж копирует Мирона, разговаривает с ним на его языке, ведет бой в том же ритме и в той же манере, и если он вдруг заговорит по-другому, Мирон не найдется что ответить.

Спокойный вид «очкикарика» подтвердил его опасения и, пытаясь успокоить себя, Сундук зашептал: «Ну, Миня, снизу, сбоку, снизу».

Шла последняя минута первого раунда. Мирону было плохо, нет, он еще не получил ни одного сильного удара, но ощущение, что «здесь что-то не так», сбивало его с толку.

И вдруг... Аксентьев плавно заскользил вправо от него, мягко ломаясь в корпусе, — и Мирон оказался в пустоте. Это был уже не привычный бой, а какой-то вальс, легкий, тревожный, и мелодия его, печальная и грозная, вот-вот могла оборваться. Мирон двинулся за противником и сам почувствовал, что он «выпал» из ритма...

...Мирон открыл глаза и совсем рядом увидел лицо Сундука и Аксентьева. Аксентьев вежливо улыбался, а Сундук мрачно жал ему руку.

— Не дотянул секунд пять, — сплюнул Сундук, помогая Мирону пролезть под канаты...

Из раздевалки Мирон пошел поздравить Аксентьева с победой.

У Аксентьева толпились друзья, — «интеллигенты», которых так не любил Сундук. Уходя, он задержал взгляд на книжке в раскрытом чемодане Анатolia. «Поль Э-лю-ар», прочел он про себя и подумал, что надо спросить у Сундука, когда и где дрался этот самый Э-лю-ар.

В коридоре на Мирона с любопытством взглянула девушка, стройная, с пепельными волосами, зеленоглазая. Она постучала в гардеробную Анатolia, и Мирон почему-то вдруг вспомнил мелодию вальса, который так резко оборвался на ринге.

«Потом надо не забыть спросить Сундука про Поля Элюара», — подумал Мирон и вдруг отчетливо понял, что не знает Сундук ничего ни про вальс, ни про то, как дрался этот Элюар.

Он вошел в парк. Сырой весенний ветер размахивал голыми ветками тополей. И Мирон подумал, что вот сейчас начнется длинный-длинный второй раунд, во время которого он постараится узнать все-все — и про тот вальс, и про того Элюара.

После гонки

Больница — место опасное. Лежу в палате № 17. Голова у меня еле шевелится. Правая рука еще туда-сюда, а левая, вместе со своей тезкой — левой ногой, в гипсе и через блок в потолке гилями поддерживается.

Ко мне всеобщее внимание. Весь персонал собрался. Столик с едой прикатили. Еще бы, человек пострадал на международной велогонке. Самым первым шел... в магазин. А они на меня налетели.

Медсестра говорит: «Больной, вот вам градусник». Я думаю, встряхнуть надо. Встряхнул рукой, а она у меня потная. Градусник отскочил и — сестре в ногу. Отвели ее. Осколки выковыривать. Тут дядька в халате, здоровый, на борца похожий, говорит: «Что ж ты делаешь?» Я дернулся, хотел приподняться, сказать, что, мол, нечаянно. А гиля, которая ногу подтягивала, качнулась и дядьке по затылку. Тот на меня. Я ему яблоко. Он яблоком в сердцах замахнулся... и нечаянно главврачу в переносицу. Главврач пошатнулся, но устоял. Оперся правой рукой и попал в суп на столике. Дернулся главврач, а миска полетела в санитара, он шел первым и нес носилки с настоящим гонщиком, с тем, который на меня раньше всех наехал. Бросил санитар носилки и схватился за ошпаренное место. Гонщик упал с носилок, очнулся, вскочил и как закричит: «Финиш, наша взяла!» — и бросился целовать ухо-горло-нос. Миловидная такая женщина. Поцеловал и, не знаю отчего, опять потерял сознание. Она его не удержала, и оба упали на дядьку, похожего на борца, а когда он упал, я проглядел.

После этого происшествия большинство больных пошло на поправку. Я теперь уже на костылях. Хожу в палату № 16. Там лежат все, кто в тот день пострадал.

Зависть

Я сижу у кромки летного поля на ранце своего парашюта. Утро. Светлое и очень весеннее. Думаю о том, что я вовремя спрыгнул из-под чуть заметных облаков, потому что на моих глазах начинается...

Невидимая рука разбрызгивает серебристые капли реактивных истребителей, и они все разом разлетаются с аэродрома по голубому небу, которое скрипит и трещит на высоких нотах, еле удерживая над землей хмельные от скорости машины. И они, если бы не сдерживающий их купол, хватили бы еще тысячу-другую километров и неизвестно, нашли бы они потом свою зеленую планету.

А пока они только учатся, и от этого достается многострадальному небу, оно стонет и гудит под ударами реактивных стрел, но скоро истребители устают и стекаются к аэродрому.

Грохот и гул еще трепещущих машин...

И наконец — тишина.

Весеннее поле и лес приходят в себя от какофонии, устроенной с утра человеком...

А в небо поднимается маленький четырехкрылый самолет и стрекочет, как старенькая швейная машина, и кажется, зашивает распоротое истребителями небо.

— Так-так-так-так — мелко стучит мотор, оставляя швы из белых хлопьев, которые медленно тают...

Небо починено, небо сверкает как новенькое, а остатки белой пряжи самолет сбрасывает на землю.

Хлопья пряжи, расправляясь от порывов ветра, превращаются в серебристые парашюты. Они еще немного покачаются над землей, пока мягко не шлепнутся на опушку леса, в теплую траву.

А зеленый самолетик, приземлившись, стоит недалеко от реактивных птиц, которые снова готовятся к полету, и понимает, что сколько бы он ни чинил для них небо, они все равно рано или поздно прорвут голубой купол и умчатся туда, где нет ромашек и клевера, нет мягких облаков, где ночью сверкают чужие беспощадные солнца, где никогда им не будет лучше, чем на земле.

«Зачем все это?» — ворчу я, собирая свой ранец. — «Действительно, глупо», — соглашается со мной зеленый самолетик, и я ухожу, чтобы скрыть горькие слезы, которые так трудно удержать, слезы обиды и доброй зависти, что это они, а не я.

На стадионе

Администрация Центрального стадиона была в панике. Утром, в день открытия футбольного сезона, штанга футбольных ворот зацвела! Пустила незаметно корни и зацвела. Скандал! Цветочки! А что же будет осенью? Хорошо, если штанга — клен или тополь, а если она вишня или, еще хуже, яблоня? «Килограмм антоновки в правом верхнем углу», — так, что ли, прикажете комментировать?

— Безобразие! — топал ногами самый главный администратор. — Мы ей покажем! Мы ее на дрова пустим!

— Дурак ты, самый главный, — сказал ему знаменитый вратарь. Принес лопату, осторожно выкопал штангу и увез на грузовике к себе в сад. Теперь она спокойно цветет там.

А самому главному вратарю после матча еще сказал: «Ты что же это, забыл, сколько раз штанга выручала нашу команду? Вот теперь пусть отдохнет, когда-нибудь к каждому приходит весна, ты что же, думаешь, мы — металлические?»

В бою ничьих не бывает

Третий раунд. Через минуту. Тот самый, который решит бой. Я сажусь, нет, падаю на табуретку в своем углу. А через минуту, нет, уже через пятьдесят секунд... В углу напротив — твой противник и твой друг Толька Завьялов. Его боковые — это все равно что врачающийся пропеллер самолета. Осталось тридцать секунд. Все знаю: надо разрывать дистанцию и бить

сухо слева, справа, слева и снова кружить по рингу. Осталось двадцать секунд. Черт с ним, с этим Толькой, ну будет у меня не 124 победы, а столько, сколько было — 123. Тоже ведь немало. Осталось пятнадцать секунд — третий раунд, мучительный, долгий и безжалостный... И тогда старый боец, мой тренер, добрый и мудрый наставник, находит нужные слова: «Встань, малыш, встань, и будь мужчиной, ибо в бою ничьих не бывает».

Теперь, спустя много лет, я уже не помню, выиграл я у Тольки Завьялова или нет, помню только, что я встал.

Долина

Я живу в уютной долине Араката. Долина эта, как чаша, края которой — горы. Я живу в ладонях земли. Я живу в израненных ладонях АБОВЯНА.

Несколько слов о Ереване

Однажды в Ереван, когда с гор спустилась осень и улицы города стали коричнево-золотистыми, приехал клоун.

Не знаю, может быть, он влюбился в длинноногую и смуглую девчонку, а может, это сказка...

Но правда, что он уехал с глазами, полными осенних дождей.

Горы

Выжженная солнцем долина в горах. Желто-серые скалы выше становятся фиолетовыми, искрящимися на солнце драгоценными вершинами.

Я и горы. Только горы и я.

Мудрые вечные горы, окружающие меня со всех сторон, закрывающие от остального мира, оставившие только голубую льдинку неба и флейту — ручей. Мудрые горы. Дают человеку звянящее одиночество, чтобы он понял: один он никто...

Обыкновенное — необыкновенно

Весной Ручеек выбился из-под горы и понесся, журча, вниз по лужайке.

— Я самый-самый, — запел он, хотя что это такое, еще не знал. Ручеек был молод и мог стать любимым, даже самым-самым. Перед ним был огромный лес, за которым — поле, потом опять лес и опять поле, деревни и города, и многое еще чего удивительно красивого и трудного на земле, по которой так легко скакать, потому что она покатая, покатая...

А чтобы не погибнуть и добраться до прекрасного синего моря, нужно пробиваться через бурелом, выдерживать засуху, поить людей и животных, врететь мельничные колеса, быть храбрым водопадом, сливаться с другими и идти к Морю...

— Нет, — подумал Ручеек, — я самый необыкновенный!

И свернулся к большой Реке. Он незаметно юркнул в нее и спокойно поплыл вместе с ней к Морю.

А она, широкая душа, даже и не заметила...

Она тащила корабли, давала свет, стерегла карасей и сомов от рыболовов и кошек. Да мало ли у нее было забот...

Так прошли весна, лето, наступил сентябрь, и Река разлилась — впереди показалось Море.

Тут Ручеек отскочил в сторону и зазвенел:

— Я самый необыкновенный: я пробился к Морю!

Но вдруг увидел, что таких «необыкновенных», которые прятались в Реке, очень много...

А все почести, мосты и набережные люди отдали Реке, которая делала обычные нужные на земле дела. Обыкновенные.

И вообще, обыкновенное — необыкновенно.

Нет и да

Я над пропастью между Нет и Да. От твоего Нет я иду к своему Да по тонкому канату, сплетенному из желаний, робости и любви.

Он дрожит и качается, а подо мной бездонное Одиночество и Да, котороеказалось таким заманчиво близким. Теперь кажется недоступным.

Но я иду, балансируя тяжеленным шестом — Гордостью. И старый добрый вальс Надежды, который всегда звучит при исполнении сложных номеров, придает мне силы.

Я иду, стараясь не смотреть вниз и не думать, что вдруг, пока я иду к твоему Да, кто-то уже поднялся к тебе, подставив для этого лестницу Благополучия.

Мне все труднее и труднее, меня качает ветер отчаяния, и когда он становится невыносимым, ты вдруг совершенно неожиданно сама устремляешься ко мне.

Я роняю тяжелый шест. Ты обнимаешь меня, и мы падаем, или летим — какая разница — на одну из ярких звезд, что ждут нас, включенные в ночной бесконечности августа.

— Милый, — говоришь ты, гладя мои волосы, — разве можно было так рисковать, ты мог бы сорваться в ужасное Одиночество. Глупый, зачем все это?

— Но ведь ты сама сказала вначале Нет, и мне пришлось смертельно рисковать.

— Разве сказала? — удивляешься ты, — я что-то не помню.

Художнику

Дорога — это единственное, что тебе никогда не изменит. Наскучит уют, остынет любовь, и останется только Дорога, и где-то далеко впереди — Надежда, что будет любовь, покой... А сегодня ты снова в Дороге, и с тобой снова Тревожность. И не лги себе: без нее ты не можешь. Любовь и покой — это только мираж, без которого не бывает Дороги.

Тональность

Эту правдивую историю мне рассказал слепой музыкант на краковском бульваре.

Ах, как часто наша быстротечная жизнь зависит от одного слова, взгляда...

Вам, мой дорогой читатель, я думаю, не надо объяснять, кто такая королева Ядвига? Я так и предполагал.

Ну, а кто такой шут Алекс, блиставший при лучших дворах Европы?

Ладно, ладно, верю.

Итак, случилось это в замке королей Ягейло. Что бы вы сделали, будучи на месте Алекса, если бы вам после концерта, на котором вы блистали, самая неприступная красавица, королева Ядвига, сделала ресницами вот так?

Этот знак и доныне в моде, но первой, как утверждают историки, им овладела Ядвига (а уж ее придворные историки, без сомнения, самые объективные).

Алекс был молод и красив. Не верьте, будто шуты были горбатыми и уродливыми. Ох уж эти мне историки...

Нет и еще раз нет.

Лучшие клоуны — Алекс же был лучшим из всех — всегда были гибкими и стройными, мимами и акробатами, острыми на язык и быстрыми на удар шпаги.

Далеко за полночь кончился бал в старинном замке королей Ягейло.

Разошлись по отведенным покоям гости, разъехались ближние соседи.

Алекс сделал то же самое, что сделали бы и вы: придерживая у бедра кинжал, он тихо пробрался по анфиладам полутемных комнат в покой королевы.

Королева, вся в белом, воздушном (волосы, плечи, свечи, зеркала — это постарайтесь представить себе сами), повернулась на тихие шаги Алекса и...

Нет, вы не угадали.

Она взволнованно выдохнула:

— Охрана!

Алекс вздрогнул и быстро исчез, как и появился. На этом кончилась блестательная карьера клоуна Алекса. Королева не могла простить, что он, с его тонким музыкальным слухом, не понял ее, она же сказала:

— Ах, рано!..

Да, чуть было не кончилась карьера Алекса, но он был человеком творческим и быстро освоил новую тональность.

Это было давно, но ничего в этой истории не выдумано, да и зачем.

Лестница

Однажды я встретился с лестницей. Это была лестница, ведущая вверх, по которой так часто скатываются вниз. Мы долго беседовали с ней, и я многое понял из ее рассказов.

Ошибаются те, кто думает, что главное в жизни человека — дороги. Нет, главное — лестницы, по ним мы поднимаемся и спускаемся (не всегда и не все самостоятельно), по лестницам мы карабкаемся, а иногда счастливо взбегаем, перепрыгивая через две ступеньки к прекрасным мраморным площадкам успеха, порой таким непрочным. Оттуда мы больше видим, и все видят нас. После чего очень важно бывает определить, стоит ли подниматься выше и по какой лестнице, или лучше вызвать лифт и передвигаться то вверх, то вниз, в зависимости от механизма моды, общественного мнения, да мало ли чего, что управляет капризным лифтом.

Есть еще любители взбежать, отдав все силы сердца и мозга, на самый верх самых коварных и шатких лестниц, а оттуда съехать по перилам, испытывая наслаждение от оваций за безрассудство и храбрость. Здесь есть опасность не удержаться в конце и шлепнуться, но у того, кто спускается по перилам такой лестницы, дух захватывает и кружится голова. А аплодирующие? Они же собираются не ради падения.

Да, главное в нашей жизни — лестницы, потому что ведь в конце любая дорога — это та же лестница, только вначале незаметная. И особенно опасны кривые, когда из-за поворотов не чувствуешь, что опускаешься все ниже и ниже.

Вот что рассказала мне старая лестница, ведущая вверх, которая очень страдала, когда по ней скатывались вниз.

Не обижайте лестницы!

Сердце

(В Ереване)

К художнику пришла старость. Стало болеть сердце. И однажды он вышел из дома, поправил длинные пряди седых волос, и, прищурив на солнце глаза, пошел к своему другу-каменщику.

— Здравствуй, мастер, — сказал художник, — мы дружим с тобой много лет и мы многое знаем, ты — о камне, я — о человеческом сердце. Людские сердца — разные. Бывают

чистые, как горный хрусталь, бывают лучистые, как рубин, или твердые, как алмаз, или нежные, как малахит. Я знаю, есть и другие: пустые, как морская галька, или шершавые, как пемза. Скажи мне, мастер, из какого камня — мое?..

Каменщик раскурил трубку и ответил:

— Твое сердце — из туфа. Туф дает людям тепло, но он ранимый, мягкий, и все невзгоды жизни оставляют на нем свои следы. Туф — это камень для тебя, для художника.

Они долго глядели на раскинувшийся перед ними прекрасный туфовый город, хранящий в себе сердца многих поколений его создателей — каменщиков и художников.

Кабачок Старость

В конце длинной дороги Жизни есть маленький кабачок Старость. Там приятно попивать сухое вино, вытянув усталые ноги к каминной решетке.

Сюда часто забегают пропустить свой первый стаканчик и набраться мудрости те, у кого вся дорога впереди. И надо следить за собой и не хватить лишнего, чтобы не наболтать им чего — про ветер и бури, а то они, чего доброго, не выйдут отсюда.

Как смешно они сейчас петушатся, не зная, что дорога до этого кабачка страшна, порой опасна.

А им сейчас все нипочем.

Так думали старики, что сидели в кабачке, согревая кости, ожидая, когда придет дремота, и можно будет снова и снова — хоть в мечтах — отправляться в дорогу.

Интервью

Все необычно в гардеробной знаменитого укротителя, облепленной фотографиями его партнеров — черных, как осенняя ночь, желтых, как песок Сахары, полосатых, пятнистых.

Необычен и он сам, сорокапятилетний, высокий, с темно-серебристой шевелюрой и карими смешливыми глазами.

Я спрашиваю его о том, что может заинтересовать, на мой взгляд, читателей нашего журнала. Он великолепно рассказывает о своей профессии; в каждом маленьком рассказе о его талантливых котятах (так он называет пантер, тигров и львов) — обязательно смешные и забавные происшествия.

Он угождает меня армянским вином, потом начинает переодеваться. Снимает роскошный, весь в сверкающих камнях колет. Под колетом — обыкновенная белая спортивная майка. Он снимает и майку. И я невольно вздрагиваю: все его тело в каких-то неправдоподобных рваных рубцах. Взглянув на меня, он разражается смехом:

— Да нет, это у меня не на работе, это — в сорок третьем, в гестапо.

Звездный дождь

Я подарю тебе звездный дождь. В жизни каждого человека бывают звездные дожди, чистые и удивительные: если не дни, то хоть редкие часы, полные звездного света, или хотя бы минуты, пусть даже мгновения, бывают, обязательно бывают, стоит только вспомнить...

Помнишь, когда ты совершила самый гордый поступок...

День и час, когда ты увидела человека, ставшего самым любимым...

Миг восторга от встречи с искусством...

Счастливые минуты смеха, развеявшие горе и боль... И многие-многие, сверкнувшие прозрением мгновения нашей жизни люди называют звездными.

Я дарю тебе звездный дождь.

Взгляни, его капли я принес тебе в ладонях.

Карманnyй вор

Я карманnyй вор. Я король карманых воров. Я богат и счастлив. Я почти что счастлив.

Вот только жаль, что никто не носит сердце в кармане!

Тень

Я попрошу тебя: оставь мне, пожалуйста, свою тень. В платье, украшенном солнечными бликами, пробившимися сквозь кленовую листву.

Оставь мне свою тень, ведь завтра взойдет солнце, и у тебя будет точно такая же прекрасная тень.

Не бойся, я не буду смотреть на землю, чтобы нечаянно не увидеть, как твоя тень положит свои руки на чьи-то плечи.

Нет, я буду беречь твою тонкую стройную тень, а когда пойдет дождь, я верну тебе ее, и ты, гордая, пойдешь по городу. Прохожие будут говорить: «Смотрите, дождь, а у этой девчонки длинноногая солнечная тень! Этого не может быть!» Они просто не знают, что те, кого любят, всегда бывают необыкновенными.

Листья

На гибких ветвях человеческих жизней — узорчатые зеленые листочки. Листья Добра — их больше всего, нежные листья Любви и листья Страха — они обычно растут где-то внизу, их

мало.

Листья Верности, может быть, не самые красивые, но наверняка самые необходимые...

Есть листья не похожие на другие, ни в каких гербариях не описанные, они встречаются редко, и их надо особенно беречь.

Качаются под ветром живучие гибкие ветви, но рано или поздно приходит осень, облетают пожелтевшие от времени листья, и очень важно, чтобы узор ковра, который они выстилают на земле, был светлым, звонким и чистым.

Это очень важно для будущей Весны.

Парень, который придумал колесо

В двадцать пятом веке, наконец, разыскали, воскресили и стали чествовать того, кто изобрел колесо.

А он ходил, печальный, с одного молочного банкета на другой, и каждый раз, захмелев от парного, бил себя в грудь:

— Братцы, что вы меня хвалите, я-то что? Колесо, ведь оно, как луна, как солнце, опять же круги по воде идут, если камень бросишь... Не много ума надо, чтоб до колеса допереть... А вот кто ось придумал — это да!

Хороший был этот парень, который придумал колесо.

Под старыми липами

На автобусной остановке под старыми липами сидела на скамейке девчонка в подвенечном платье с красивой белой вуалью, а в руках у нее были розы, тоже очень красивые, снежно-белые.

А вокруг стояли люди. Кто ехал с работы, кто в театр, а кто на стадион; кто ждал семерку, а кто одиннадцатый. И, понятно, на девушку в белом подвенечном платье никто не обращал внимания, потому что в таком платье обычно приходят на конечную остановку, где оканчивается маршрут автобуса, где можно оглядеться, выбрать, с кем поехать дальше, а она стояла на обычной автобусной остановке под старыми липами.

Гордая девчонка. Она верила, что увидев ее, кто-то должен бросить все свои дела, протиснуться к двери и выпрыгнуть на ходу или, придя на остановку и увидев ее, поехать совсем в другую сторону.

Но люди редко бросают начатые дела посредине, и они только улыбались, глядя на нее, потому что подвенечное платье было модное. Я видел ее только однажды. Может быть, потом она с кем-то уехала, а может быть, белые розы, которые она держала в руках, стали ронять свои лепестки, и она ушла.

А я все жду и каждый раз прижимаюсь лбом к стеклу, может быть, она появится снова, и не могу себе простить, что в тот день не смог вырваться из толпы и проехал остановку под

старыми липами.

Фонари

Ночь.

Идет мелкий дождь.

Капли дождя видны, когда попадают под свет фонарей, и кажется, что фонари вдоль улицы плачут.

О чём?

Фонари плачут дождливой ночью только о том, что не удалось людям, потому что сами они — просто фонари, своей печали у них нет.

И плачут они целую ночь от одиночества, от того, что идет дождь, и завтра нелетная погода, и кто-то не встретится, кто-то недолюбит, недоцелует...

И оттого, что завтра нелетная погода, этой ночью вдоль улицы плачут фонари.

Признание

Опали с деревьев листья и высохли травы и цветы. Вот что ты сделала со мной, когда перестала смотреть на меня.

Не будет больше на свете снега, и не будет дождя. И даже — солнца. Вот что ты сделала со мной, когда перестала встречать меня.

Море затянуло ряской, и река обмелела. Вот что ты сделала со мной, когда перестала любить меня.

А люди, что около меня, видят вокруг совсем другое — осенний, добрый, золотисто-зеленый мир. О, в этом мире только я брошу по дорогам, где в пыли валяются мертвые жаворонки. Вот что ты сделала со мной...

Желтые звезды

Астрономы считают желтые звезды на черном небе. Их головы подняты вверх. Моя опущена вниз.

Ты думаешь, это потому, что ты мне сказала: «Я не люблю тебя»?

Нет, нет. Это потому, что я считаю желтые звезды, желтые кленовые листья на черном ночном асфальте.

Со мною ты...

Дорога. Из всех дорог я помню черную ленту асфальта, мокрую от росы, и листья ясеня на ней, дорогу, по которой мы шли утром, и ты боялась, что будет с тобой завтра, а завтра не было, было только сегодня до завтра, до послезавтра было только сегодня, счастливое сегодня. Потому что эта дорога — начало, середина и конец, потому что по этой дороге я иду не один: со мною ты.

Здравствуй, дерево!

Здравствуй, старое доброе дерево! Здравствуй! Я снова здесь, я снова приехал. Мы снова можем разговаривать с тобой, у меня от тебя нет секретов. Ты же знаешь про меня все. Ты помнишь, мы с ней стояли под твоими ветвями. И она верила, что безумно только меня одного любит. Любит, любит... и еще...

Это неважно, что ты стоишь в шумном городе на самом людном месте, на самом людном перекрестке. Мы всегда, может, это мне кажется, ждем встречи друг с другом. Правда?

И вторую любовь мою в этом городе ты ведь тоже помнишь? Только была зима. Вспомни! Я проходил мимо тебя, касаясь рукой твоей коры. Было холодно. Была ночь. И мне казалось, что ты чувствуешь холод. Я подгребал к твоему стволу снег, ведь тебе так было теплее.

А потом? Мы ведь можем многое вспомнить, тебе было грустно, твои листья — осенне золото — ты ронял к нашим ногам, а у нас была весна. Весна! Весна!

Врешь ты все, чертова деревяшка, была Весна, была, слышишь, была. Это ты когда-нибудь станешь пнем, а она не умрет никогда, она же Надежда...

Не сердись, прости меня, прости меня, будь добрым. Я же всего лишь человек. Я просто человек. Любовь приходит и уходит, как опадают и снова зеленеют твои листья. Еще тысячи людей будут поверять тебе свои тайны. А я уйду, как все, только одну весну подари! Прошу, еще одну! Только одну, не отказывай! Мое доброе старое дерево! Я прижмусь к тебе щекой, чувствуешь, я поцарапан твоей корой, только одну весну. Будь добрым, ведь я только слабый человек. Будь, будь, будь обязательно добрым.

Я умру, если никто не скажет: «Люблю!»

А ты подаришь нам золотой листик?

Будет, будет! Правда?

Пистолет

Уходя от меня утром, длинноногая девчонка в васильковом платье подарила мне пистолет. И когда через год несчастья (так мне казалось) раздавили меня, я поблагодарил белокурую за подарок, за этот пистолет.

За то, что он был игрушечный.

Поговорили

Этого долго ждали, но когда это случилось, люди Земли оцепенели.

— Получены сигналы из космоса!

Старая, грешная земля дождалась. Да! Ее услышали и ей ответили. Четыре миллиарда землян не отходили от приемников и телевизоров. Забылись все их споры.

15 марта 1985 года астроматематик из Бюракана Саркисян, автор эффекта «свертывания пространства», услышал сообщение из космоса:

— Вас поняла, выхожу на двухстороннюю связь 22 марта 1985 года земного исчисления.

Эта неделя! Ее никогда на Земле не забудут.

Газеты печатали только статьи о космосе и предстоящем с ним разговоре.

В Ереване киевское «Динамо» проиграло матч «Арарату», но этого никто даже не заметил.

В Париже диспетчер аэропорта «Орли» спутал графики двух рейсов, и правительство Канады улетело в Токио, а японский премьер оказался в Монреале.

Наконец, 22 марта, в 12 часов по Гринвичу человечество, приникшее к радиоприемникам и телевизорам, услышало женский голос:

— Алло, алло, Земля! Говорит межгалактическая станция связи гуманоидных цивилизаций, старшая дежурная станции — Этли Омфи.

Взволнованный голос земного диктора ответил:

— Го-во-рит Земля! Го-во-рит Земля!

Послышалось щелканье, свист, и серебряный голос ответил:

— С кем вы хотите говорить?

Наш диктор не растерялся:

— С цивилизацией, девушка, с разумными существами хотим говорить!

— Вы что, первый раз на связи, что ли? — в серебристом голосе послышалось раздражение.

— Да, — упавшим голосом ответил наш диктор.

— Хорошо, соединю вас с филиалом координационного центра молодых цивилизаций. Ждите.

Что-то щелкнуло и наступила тишина.

Через несколько минут с Земли снова полетели в космос мощные сигналы кванто-кварковых установок.

Серебристый голос откликнулся:

— Что там еще?

— Девушка... — голос нашего диктора выбрировал. — Мы хотим говорить. Мы с Земли.

— Я же сказала: ждите. Линия перегружена. Соединю в течение одного люмфо-пи кварка.

— Люмфо-пи кварк — это же двадцать пять тысяч лет, — раздался голос астроматематика Саркисяна.

Передача прервалась.

Люди молча разбрелись по пыльным земным дорогам. Им ничего другого не оставалось, как всерьез приняться за земные дела.

Однажды в Одессе

К славному Одесскому пароходству

этот рассказ никакого отношения не имеет. Автор.

Теплоход «Иван Чихира» тонул в двух метрах от пирса.

Палевая одесская осень роняла зеленые ежики каштанов на приморский бульвар, под ноги самым красивым девушкам на свете.

А теплоход тонул в двух метрах от пирса, на глазах у смеющейся красавицы Одессы.

Тонул ли?

Тонул или не тонул?

С одной стороны — тонул; весь город видел, что тонул, но с другой стороны (со стороны капитана и пассажиров — работников пароходства, отправившихся на экскурсию в Батуми) — не тонул, ибо на руках были все документы, подтверждающие, что в ближайшем квартале «Иван Чихира» утонуть не может: заключение комиссии о капремонте, справки о состоянии обшивки, трюма и т. п.

А то, что вся Одесса смеялась и кричала:

«Спасайся, кто может!» — так это ж Одесса!

Между тем теплоход все больше погружался в ультрамариновое море: вода уже заливала нижнюю палубу. Собрав свои пожитки, переметнулся на берег боцман Семенов, темный человек, не веривший в документы; за ним потянулись несознательные матросы.

Но капитан Филимон Смурило твердо стоял на своем: «Быть того не сможет, чтоб теплоход утонул, если сам тов. Фунькин подписал приказ — идти "Ивану Чихире" в Батуми».

Палевая одесская осень роняла зеленые ежики каштанов на приморский бульвар, под ноги самым красивым девушкам на свете.

А теплоход утонул. С капитаном и работниками пароходства. Вся Одесса видела, но по

«предписанию» 15 октября «Иван Чихира» должен прибыть в Батуми, и если он опаздывает, у многих будут неприятности.

А то, что вся Одесса видела, так это ж Одесса!

Туфельки

В углу стоят три пары твоих туфелек, и все они разные, так как служат для разных целей, хотя все они туфельки.

Вот в середине коричневые. Они, конечно, элегантны и у них высокий каблук, но все-таки они рабочие, их назначение — оберегать твои ножки. Каждодневно. А рядом — высокомерная пара белоснежных и аристократических узконосых туфель.

Эти белоснежные неженки, от которых устают твои ножки гораздо больше, чем они сами, — твое любимое оружие. И когда ты их надеваешь, тебе кажется, что не земля вращается, а ты поворачиваешь ее своими острыми каблучками.

Но я больше люблю третью, о которых ты ласково говоришь: «мои одалиски». В этих домашних туфельках ты бываешь сама собой, в них ты приходишь ко мне, и когда засыпаешь в моих объятиях, они, как две верные собачонки, дожидаются тебя у постели, на том самом месте, где ты их оставляешь.

Тореадор

Она его любила.

Она знала, что он самый искусный тореро. Он лучше всех владел мулетой, а сверкающая шпага казалась продолжением его гибкой руки. Но хотя он был самым ловким и быстрым, красивым и бесстрашным, он так и не стал знаменитым матадором. Для матадора он не умел самого главного.

Он не умел убивать.

И за это она его любила.

Однажды

Месяц, этот ночной сторож, видимо, хватил лишнего и запрокинулся на спину. И звезды, осмелев, зашушукались, замигали ярче обычного. В самом углу неба, видимо, рассказывали анекдоты, одна звезда не выдержала и покатилась от смеха по небосклону, таким ей показался смешным анекдот о том, как далекое солнце соблазнило своим признанием одну звезду, а когда она влюбилась, то узнала, что солнце это давно потухло и остыло, и все его признания — только мертвый свет. Созвездия медленно кружились в хороводе.

Все шло своим чередом, взрывались, вращались, гасли звезды и планеты, и никто не

подозревал, что маленькое беспомощное существо уже сделало свой первый шаг на заброшенной планете, запрокинуло головку к звездному небу и стало задавать себе тысячи вопросов: отчего и почему?

Оно зовет себя человеком. Этот маленький осколочек прекрасной звезды, которая погибла, потому что она была не такая, как все звезды: и вечность называла смертью, и умерла, чтобы дать жизнь.

Трудно будет человеку, надо стать взрослым, вернуться в звездный мир, а пока в зеленой колыбели на Земле он учится любви, учится справедливости, миру — всему тому, без чего и шагу не ступишь на Звездах.

Окно

Окна. За каждым из них люди. И окна рассказывают нам о них. Это стены и двери бывают непроницаемыми, а окна всегда немножечко предатели.

Послушайте историю, которую рассказало мне одно окно.

Свет в этом окне иногда горел допоздна, а иногда дня два-три подряд вообще не зажигался. На подоконнике всегда валялись трубки чертежей, стояли бутылки из-под кефира, изредка — из-под вина. Но однажды на окне забелела занавеска, правда, очень уж красиво-скучная, а на подоконнике появилась герань с ядовито-зелеными листьями и болезненно-розоватыми, похожими на синяки, цветами.

Не прошло, однако, и месяца, как занавеска и герань исчезли, и за мутным от пыли стеклом завиднелись бутылки из-под кефира и трубки чертежей.

От этого стало почему-то очень грустно.

Потом пришла весна, она ведь обязательно когда-нибудь да приходит. И вдруг окно распахнулось и показалась белокурая незнакомая девчушка. Она весело и звонко рассмеялась и поставила на подоконник полевые цветы. Я радостно улыбнулся в ответ и с легким сердцем отправился по своим делам.

Потом я уехал и долго странствовал.

Года через четыре вернувшись домой, я, конечно же, посмотрел на знакомое окно...

Маленький художник, высунув язык, дорисовывал на чистом стекле окна чудесную картину: синее-синее море и белый-белый пароход с трубой, из которой валит черный дым, и над ними — красное солнце, лучи которого устремлены во все стороны.

Мне эта картина пришлась по душе.

Подснежник

Сегодня я собираю в осеннем лесу оранжевые, желтые, багряные листья.

Чудо-золото в моих руках и вокруг.

А я думаю о том, что скоро наступит долгая суровая зима.

И сколько Мужества и Веры нужно иметь крохотному подснежнику, когда он появится весной в опустевшем и голом лесу.

Сколько Мужества и Веры в прекрасные силы должно быть заложено в крохотных живых лепестках, чтобы не дрогнуть и в который раз начать все сначала!

Мой друг, будь как Подснежник, я знаю, сейчас тебе трудно...

Мой друг, будь как Подснежник, я знаю, сейчас ты совсем один...

Мой друг, я верю в тебя, как в Подснежник, пока жив в тебе хоть один листочек, хоть один лепесток!

Зонтик

...Немного помолчав, она сказала: «Но нам же негде жить, у нас нет дома».

Он рассмеялся и сказал, что у него есть зонтик, совсем новый, который сам раскрывается, если нажать кнопку. И зонтик — это прекрасный дом, очень уютный для двоих, Правда, у него нет стен, но зато стоит протянуть руку, и вы узнаете, какое на улице время года, например, прошла весна или все еще идет.

С таким домом, как зонтик, удобно путешествовать, приятно слушать дождь и еще...

Но она не спросила: «что еще...» и ушла к другому, у которого была однокомнатная квартира со всеми удобствами, но, наверное, все-таки не было такого зонтика, а если и был, то, согласитесь, зачем человеку два дома, это же смешно...

Теперь, спустя много лет, она наконец поняла, какой это был чудесный зонтик, маленький парашют, держась за который вдвоем, можно улететь далеко-далеко, особенно в дождливые дни... И она тоскует в своей уже трехкомнатной квартире, потому что, чем больше квартира, тем дальше друг от друга те, кто в ней живут, и когда идет дождь, она готова броситься вниз, чтобы разыскать свой зонтик, но разве с пятнадцатого этажа узнаешь, какой зонтик твой?

А если и узнаешь, то ведь неизвестно — исправно ли сегодня работает лифт.

Голубой Тюльпан

Когда он умер, из его ладони вырос Голубой Тюльпан. Извилины и морщины ладони стали корнями Голубого Тюльпана.

Человек этому очень удивился и спросил свои пальцы, как это из такой старой, усталой руки мог вырасти такой прекрасный Голубой Тюльпан. И пальцы ему ответили: «Чего же ты удивляешься? Разве мало мы в жизни вырастили цветов?»

Звезды

Безлунной ночью окна больших городов похожи на звезды.

Звезды вспыхивают и гаснут. Жизнь на них то разгорается, то замирает на какое-то время, чтобы возродиться опять, и даже если кто-нибудь умирает — это, к сожалению, может случиться, — то приходят другие люди и снова зажигают звезды...

Созвездия — этажи, галактика — кварталы, тысячи обитаемых миров. Только не надо путать звезды-окна со звездами уличных фонарей: фонари необитаемые, они только освещают путь от одной звезды до другой.

Бывают звезды, вокруг которых живет помногу людей: бывает, что около звездочки живет только один человек, и это всегда грустно, потому что ему некому рассказать про звезды в лунную ночь, что похожи на окна в большом городе.

Но я хочу ему сказать: «Не нужно отчаиваться, потому что на одной из звезд, вполне возможно, кто-то тоже одинок и ждет тебя. И еще нужно обязательно верить, что звезды над вашей головой — это, может быть, всего-навсего окна ночного города, а переехать из города в город — это ведь совсем просто.

Твое лицо

Чтобы нарисовать тебя, я выберу тихое лесное озеро в зеленой камышовой раме и буду ждать, когда настанет светлое сентябрьское утро, и чтобы обязательно пахло мятой и сосновыми иглами. Тогда я примусь за работу.

Сначала я нарисую глаза: для этого у меня в запасе синие кусочки горячего июльского неба.

У корней осины я соберу черно-зеленые веточки мха и тихонечко опущу их в воду — это будут твои ресницы и брови.

Губы твои я выложу большими лепестками озерных лилий, а тонкие стебли их обрисуют овал лица, твой носик и волосы. Чуть не забыл: чтобы оживить лицо, нужен какой-то теплый оттенок... Я пущу по воде нежно-багряные семена шиповника. Так лучше.

Потом я возьму маленький чистый камешек и осторожно брошу его к верхнему краю рамы: по воде пойдут чуть заметные волны — это будет твоя улыбка.

Картина почти готова.

Добавлю еще немного щебета лесных птиц, а по углам разбросаю несколько нитей осенней лесной паутины, это придаст картине старинный вид...

Я покину маленькое озеро лишь поздней осенью, когда картина покроется тонким ледяным стеклом, тогда можно будет вздохнуть спокойно.

Весной ты придешь в лес за подснежниками и увидишь себя в озере. Не удивляйся: «Кто это сделал?»

Это я. Теперь тебе все понятно?

Дорога

Я уезжаю.

Я завтра уеду.

Дорога длинная-предлинная.

И такой же длинный поезд.

Состав из десятков, а может быть, сотен тысяч вагонов.

Сто окон в каждом вагоне, потому что каждый вагон — это столетие.

Я войду в последний вагон, чтобы быть хоть немного ближе к тебе.

Ты, я и грусть

Кафе становится пустым. Сдвигают стулья, гремят на кухне посудой. Остаемся только ты, я и грусть.

Прости меня, я знаю, ты хотела, чтобы сегодня мы были только вдвоем, но со мной моя грусть...

Ну вот, ты уже сердишься, тебе нужно позвонить. Я понимаю. Срочно.

Кафе становится пустым.

Сдвигают стулья, гремят на кухне посудой.

И мы только вдвоем, я и ты, моя грусть.

Вначале

На закате, под деревом, у реки кто-то поцеловал девчонку. Потом были племена, государства, войны, олимпиады, восстания, Освенцим, свобода, гении, миры, вселенная.

Это все было потом.

Но вначале во вселенной, в одной из галактик, на планете около солнца, у реки, на закате, под деревом кто-то поцеловал девчонку.

Микрофон

Однажды микрофон, обыкновенный микрофон, ужасно загордился. Он стал помыкать даже

своим шнуром, динамиками, подставками. Он стал невыносимо заносчив.

— А что такое человек без меня? — рассуждал микрофон. — Не может обойтись без меня никто — ни певица, ни комментатор, ни космонавт! Это я — микрофон — разношу их голоса по планете...

И тогда человек стал часто и надолго выключать микрофон, и тот сделался скромнее — понял: совсем не обязательно человеку пользоваться им все время.

Больше того: самые главные слова человек всегда будет говорить без микрофона.

Какие именно?

Ну, например: «Я вас люблю!..»

Желтая роза

Всю жизнь меня окружали цветы. Я сам часто дарил цветы, но чаще дарили мне (не потому, что хороший, просто такое уж у меня ремесло).

Мне кидали их на сцену. И все их я помню и люблю. И гордые гладиолусы, которые молчали даже тогда, когда ломались их хрупкие стебли, и скромные гвоздики, такие счастливые, когда их поднимаешь над головой, печальные и добрые георгины, болтливые ромашки, томные лилии, желанные пунцовые розы, готовые даже в счастливые для вас минуты исподтишка выпустить свои шипы, и многие-非常多的 другие. Я их все люблю и помню.

Но одну желтую розу я люблю и помню больше всех. Это была желтая роза с опаленными лепестками, с лепестками, сожженными по краям.

Среди тысяч и тысяч цветов я люблю одну желтую розу, отмеченную пламенем, и не за то, что обожжена (с кем этого не бывает?), а за то, что огонь шел изнутри.

Пожар

В городе был конец апреля; снег на улицах стаял, земля во дворах и скверах просохла.

Чувствовалось, что вот-вот начнется... По ночам голые ветки деревьев прислушивались: не началось ли уже?

И вдруг в одно тихое светлое утро где-то на подоконнике заброшенного чердака зазеленел маленький листочек. Почти тотчас же зеленое пламя этого листочка перекинулось на черневшие внизу газоны. Пламя, охватив газоны, понеслось дальше. Вскоре запылали салатовым цветом березы, тополя, акации, изумрудный огонь пробежал по кустам сирени.

На следующий день полыхал уже весь город. Ветер раскачивал зеленые клубы нежной листвы, и весенний пожар разрастался.

Люди — особенно молодые — все-таки дети. Их предупреждают — не играйте с огнем, — они не слушаются, и в результате во время весенних пожаров многие гибнут, испепеляются. И только те, у кого сердце в старых ожогах, в огонь не лезут.

Они знают, что когда подует северный ветер, холодные дожди погасят разгоревшиеся по весне деревья и город из конца в конец подернется золотым осенним пеплом...

А впрочем, сейчас май, любимая, и, может быть, в этом году для нас не будет осени?

Яблоня

Если немного постоять под колоннами Большого театра, примерно в восемь вечера, за полчаса до выхода Плисецкой, потом дойти по улице Горького до памятника Пушкину, спуститься бульварами к Трубной, деликатно не замечая влюбленных, и по кирпичным аллеям скверов, завернутых в мягкую весеннюю зелень, добраться до Марьиной Роши, тогда за мостом железной дороги, там, где недавно стояли старые домики, можно в вечерних сумерках увидеть белоснежную яблоню — балерину в белоснежной пачке, одну среди ошалевшего от любви и преданности бурьяна, и услышать овацию восхищенного электропоезда — с желтыми глазами-окнами, проносящегося к далекому морю.

Наверное, некоторые мне скажут: «Зачем весь этот долгий путь, когда можно сесть на такси?» Конечно, можно, только там, за мостом, вы ничего не увидите, потому что будет еще светло.

Крик

По голой земле мела поземка; голые деревья ежились и дрожали; небо было серым и только у горизонта чуть светилось. Море плевалось в берег рябью белых гребешков, почерневшие обшарпанные домишкы с темными окнами казались мертвыми.

Одиночный крик стлся над берегом. «Не хочу так жить!» — кричала молодая женщина, привалившись грудью к ограде палисадника, увешанной линялыми стеблями кукурузы.

Из дома вышла старуха и стала что-то тихо говорить женщине. Может быть, старуха сказала, что криком не поможешь, и что она сама когда-то горевала, а потом все обошлось.

Постепенно стало темнеть. Все живое примирилось с надвигающимся мраком и заглохло, замерло.

И остался только звенящий протест человека, отчаянный жуткий вызов бедам и горю: «Не хо-чу так жи-ить!»

Неподвижные звезды

Звезды, звезды!

Люди поклоняются звездам, люди верят в звезды, счастливые звезды удачи и надежды.

Звезды рождаются по-разному: одни — в глубинах космоса и светят нам вечно, другие мелькают серебряной дугой у самой Земли и тут же гаснут.

Но есть на черном небе самые дорогие нам, людям, звезды: они всегда неподвижны в общем звездном хороводе, они от пуль, пробивших ночь над землей.

В черном небе навсегда остались пунктиры звезд в память о тех, кто дал нам ценой своей жизни сегодняшний день, вечер и час, тихую ночь и звездный хоровод.

Вглядывайтесь! На небе есть неподвижные звезды.

Я и Ты

Я женщина. Хочешь, открою тайну? Постарайся понять.

Я и Ты — это весь Мир. Потому что Я и Ты — это Вечность.

Потом будут ОНА и ОН, но это все равно МЫ.

Я и Ты — это Вечность.

Постарайся, наконец, понять.

Раньше

Раньше по вечерам на Земле целовались, а по утрам воевали со спокойной душой, потому что знали, что вчера целовались и будет кому воевать потом.

Ужас, какой был разумный мир!

После концерта

После концерта я ужинал в маленьком ресторане. Из-за соседнего столика встали, закончив ужинать, мужчина и женщина. Нерешительно они подошли ко мне.

— Простите, пожалуйста, — сказала она, — большое вам спасибо за сегодняшний вечер в театре. Это вам.

И протянула мне огромную красную розу на длинном стебле.

Я поблагодарил и скоро сам, закончив ужинать, вышел на вечерний главный проспект.

Я решил кому-нибудь подарить мой чудо-цветок. Я не мог отнести его домой, потому что он только подчеркнул бы убожество моей холостяцкой каморки.

Навстречу мне шла длинноногая девушка в легком весеннем платье. Я осторожно сделал шаг в ее сторону, вежливо извинился и с улыбкой протянул ей благоухающий цветок. Она резко отвернулась и пошла своей дорогой.

Я подумал, что, может быть, у нее неприятности или она неправильно меня поняла, и решил

подарить розу женщине постарше.

Я выбрал женщину средних лет, извинился, протянул ей похожий на факел цветок.

Она грустно улыбнулась и, покачав головой, сказала: «Подарил бы ты, сынок, кому-нибудь поможе».

Я завернул в сквер. На одной из скамеек сидели, обнявшись, парень и девушка. Я подошел к ним: «Ребята, я желаю вам счастья, это от меня». Бедная моя роза... Парень угрожающе приподнялся: «А ну, отойдем!..»

И опять я остался один. Вдруг мне пришла в голову мысль. Я подошел к пожилому мужчине: «Простите, пожалуйста, кажется, у вас есть дочь или невестка... Подарите ей это от меня!»

— Во-первых, это моя жена! — прогремело в ответ... Что «во-вторых», — я не стал слушать.

Я решил, что моя роза никому не нужна...

Но вдруг возле меня остановился розовощекий малыш. Я присел и спросил его: «Тебе нравится? Возьми!»

И я протянул ему розу, похожую, наверное, на огромную погремушку. Он весело заулыбался и схватил цветок за стебель.

Я рассмеялся и пошел домой. Выходя из сквера, я обернулся. Малыша позвала мама и — о, какая досада! — он выпустил цветок из рук и побежал к ней.

А красная роза на длинном стебле осталась лежать на мокром черном асфальте.

Трудно в большом городе дарить цветы.

Ах, все равно — я не разучусь дарить цветы, не разучусь. * * *

А я люблю твои глаза.

Я завтра скажу твоему мужу: «Я люблю ее глаза!»

Он все поймет, он поймет, что хлеб пахнет полем, а земля после дождя дымится. Он же поймет! Утро наступает потому, что ты открываешь глаза.

А еще я люблю твои глаза потому, что это окна, через которые я смотрю на мир.

Фонтаны

По утрам в большом осеннем парке я встречал человека, который подстригал фонтаны. У него были кожаный фартук, большие мокрые ножницы и деревянная расческа.

Он ходил вдоль фонтанов, которых было в парке очень много, и подстригали ножницами водяные струи. Но вода капризна, она оставалась на том же уровне... А самое удивительное, что на лице этого человека не было раздражения, скорее, наоборот...

Однажды, когда он закончил свою работу, мы встретились с ним в кафе за стаканом вина. Я спросил его, почему он выбрал такую странную профессию? Он подумал и, прищутив глаза, сказал, что на свете много профессий гораздо более бесполезных и много профессий совсем

ненужных. И особенно часто люди любят подрезать, подстригать и вообще подравнивать, а это так тоскливо и неинтересно. Ну, скажите, кому нравятся подстриженные деревья?

— И, может быть, главное в моей профессии, — сказал, улыбнувшись, человек, который подстригал фонтаны, — чтобы люди, придя в парк, поняли: не все на свете можно стричь, а уж тем более — под одну гребенку. * * *

Тихий пруд. Ивы опустили в воду уже желтые пряди, как на крышу черного рояля, и слушают тихие звуки осеннего парка.

Лодки, серые клавиши, выщерблены и погнуты...

Сижу на берегу с пригоршней камней...

За спиной раздается голос: «Никогда не понимал этого бесцельного занятия — бросать камни пригоршнями. Если это так уж необходимо — дождитесь зимы, притащите по льду мешок камней и высыпьте на середину. Весной все будет на дне».

Человек поднимает воротник и уходит. Он никогда не увидит ажурных кругов, идущих по воде от брошенного камня, нанизанных друг на друга, похожих на Эйфелеву башню с огнями по краям, которые зажигают на шальных волнах лучи уходящего солнца. * * *

Занимая на станции Детство место в поезде Жизни, не пытайтесь обязательно протиснуться к окну. Слишком поверхностное будет впечатление. И совсем неважно, какой у вас вагон, хотя некоторые считают чуть ли не трагедией, если они едут не в мягком.

В конце концов, каждому, у кого есть билет — свидетельство о рождении, — место обеспечено... Важно другое: чтобы на многочисленных остановках — Юность, Зрелость, Творчество, Неудача и, может быть, Счастье и многих других, радостных, но, к сожалению, коротких, все сделали бы все возможное, чтобы после, когда придет время для вас, прощаться на тихом полустанке...

Соседи

Ах, как осуждали художника соседи! Все говорили о том, что он такой талантливый, и как жаль, что он пьет, втайне радуясь, что он хоть в этом похож на них.

И никто не знал, что у художника в доме уже давно в кувшине для вина — простая ключевая вода, и ее по утрам легкой походкой приносит та, которую он любит.

А хмельной он оттого, что пьет утреннее солнце, белизну снежных вершин и расплескивает их кистью по своим полотнам.

Я заходил в его всегда открытый дом, пил воду из того кувшина и, покачиваясь, счастливый и печальный, шел домой.

Наверное, это была все-таки не простая вода, или тому виной гибкие руки, наливавшие воду, и глаза девушки, которая так любит художника, глаза цвета горной фиалки.

Бедная моя голова так кружится, и мне так хорошо! А вон и глупые соседи что-то уже говорят обо мне. Ну и пусть!

Моя знакомая

Моей знакомой из третьего подъезда шесть лет. «Знаешь, — сказала она мне как-то утром, — наш дом похож на бутерброд». Я посмотрел на нижний этаж, где висела вывеска «ХЛЕБ», и согласился. «Ну, а девять этажей что?» — решил уточнить я. Оказалось, девять этажей — это сыр, колбаса (вареная и копченая), паштет и т. д., в зависимости от того, что на каком этаже было на завтрак.

К дому-бутерброду подъехала машина «Молоко».

Утро жизни. Все кажется вкусным.

И мне вдруг стало стыдно, что я так много позабыл.

Я поскакал немного на одной ноге со своей знакомой по «классикам» и с аппетитом пошел на работу.

Лучик

Как одиноко фонарю ночью на улице.

Как далеко ему до другого такого же фонарика, на той же улице. Уже холодно, и в городе ноябрь.

Подойди к желтому лучику, согрей его, прислонившись плечом — ему будет не так одиноко. Помоги фонарю на пустой улице ночью. Ты думаешь, это легко — всю ночь стоять одному, покачивать желтый блик на талом снегу и замирать от страха, как бы ветер не оборвал провода-нервы?

Не бойся!

Подойди к фонарю.

Вдвоем будет легче.

Той, которая впервые узнала, что такое дождь

Дождь — это значит мы дома, одни, дома, на нашей маленькой земле, плотно закрытой мягкими тучами. Нам ничего не страшно, мы вместе у огня, зажженного солнцем много-много веков тому назад и, тихо кружась на уютной Земле, можем отдохнуть, а потом снова проверить, что там за...

Дождь — это твои мокрые волосы, капли чистой воды, драгоценные, как капли изумрудов. Их просто дарят нам тучи, мы промокли, нас напоил дождь, дал нам свой шелест. Мы одни за стеной дождя. Как уютно у нас на влажной Земле.

Дождь, наш добрый земной Дождь.

Если бы не было на Земле дождя, мы бы сбежали отсюда, сбежали туда, где идет Дождь.

Дождь. Дождь.

Ты спрашиваешь, за что я люблю дождь?.. Дождь — это когда мы вдвоем. Нам не нужно идти в гости, и никто не придет к нам, потому что — Дождь.

Дождь, и никто не мешает нам целовать влажные губы.

Дождь, и тебе необходимо мое тепло, без меня тебе холодно, потому что Дождь. Дождь — это только наше, земное. Солнце на всех планетах — на черном, земном, оранжевом небе — то же самое Солнце. А дождь бывает только у нас, у нас на Земле. Теплый дождь.

Хорошо тебе у нас, ты не улетишь? Правда?

Уютно и легко жить на Земле.

Правда?

Ты грустишь. Тебе рассказали... что дожди на земле бывают разные: бывают свинцовые, бывают из облака, похожего на гриб...

Да, это правда. Так бывает.

А ты не верь, не верь, любимая, не вспоминай, не рассказывай об этом у себя дома.

А когда ты прилетишь обратно ко мне навсегда, обещаю — все будет совсем по-другому.

Я клянусь тебе: у нас это не повторится, а я приготовлю для тебя длинные полосы солнца, пропущенные сквозь кружево светлых облаков, а в них раздроблю миллионы капель хрустала.

Прилетай! * * *

Я снова один. Это мучительно. Это жутко, будущее кажется совсем беспросветным.

Удивительно трудно, да не очень-то это ново — быть одному. Нет близкого человека, женщины, которая бы поверила, согрела бы тебя, и уже, наверное, больше не будет.

Это горькая истина.

А завтра мучительно трудная, каторжная работа, настоящую цену которой знаешь только ты сам. И так ничтожен будет успех, если он только будет; зато как страшно поражение!

Мой зритель, я верю в то, что ты должен быть добрым. О чем ты сегодня, сейчас, в этот вечер, думаешь, ты, который завтра придешь меня смотреть? Наверное, уж не обо мне. А если и обо мне, тебе ведь и в голову не придет, как тоскливо, как не хочется жить этому клоуну, как ему одиноко. Да и голодно тоже. Как же так, что любовь и громадная требовательность в любви приводят к разрыву? Разве тебе придет в голову, что я совсем, понимаешь, абсолютно одинок. Как мне объяснить, что я не могу простить любимой женщине ее обычного человеческого женского прошлого, потому что для меня прошлое, настоящее и будущее моей любимой — это одно, потому что я любил ее в тот день, когда она родилась, и буду любить до дня ее смерти, и все, что с ней произойдет в этот промежуток, касается меня, все я воспринимаю, как если бы это случилось сегодня утром.

Не понимаю, ничего не понимаю, не понимаю ваших законов, вашей морали, вашей любви, взрослые!

Не знаю, как я буду жить. В вашем мире я жить не смог, а в своем я совсем один.

Страна Фантазия

Я могу рассказать и даже показать, как это делается, потому что я бывал в стране Фантазия. Главное — чтобы не было скучно, а потом...

Возьмите, например, что-нибудь самое обыкновенное, ну, скажем, метлу. Теперь поверните ее в руках. Как видите, это уже не метла, а гитара. Теперь вскиньте ее на плечо. Как видите, она уже винтовка. Ваша метла может превратиться в секиру, и тогда вы будете отброшены на пятьсот лет назад. Затем она внезапно становится хоккейной клюшкой и через секунду — плакатом болельщика, поддерживающего любимую команду... Но вот хоккейный матч отгремел и ваша метла уже просто метла, которой пожилой человек, некогда мечтавший, быть может, стать хоккейной звездой, подметает трибуны.

Когда вы справитесь с метлой, возьмите что-нибудь посложнее, например, уличный фонарь... Он умеет превращаться в мечту и уносить далеко-далеко...

Если получится и это, тогда вы можете взять звездное небо, очень похожее на сито, черное сито с неровными дырочками. Просейте сквозь него все ваши фантазии и покажите их друзьям. И если в глазах друзей вы увидите светлые капли грусти от смеха, смешанного с печалью, значит, вы уже...

Однако главное — чтобы не было скучно.

Сказочник

Всю ночь в огромном доме светилось одно окно. За окном жил сказочник (некоторые называли его поэтом); он писал сказки и дарил их людям, потому что без сказок людям живется трудно.

У него на столе лежало много разноцветных карандашей. Страшные сказки он писал черными карандашами, а веселые — красными, желтыми, зелеными, белыми. Но однажды... какой-то злой и неумный человек взял и похитил все эти карандаши. Он оставил сказочнику только черные и белые и, уходя, сказал: «Вот теперь он будет писать так, как надо!»

Долго стоял опечаленный художник у своего опустевшего стола, потом поднял воротник куртки, погасил лампу и вышел.

Он шел, не зная куда. Он медленно шел под дождем по своему городу.

Когда он устал и остановился, к его щеке прилип мокрый березовый листок и он увидел, что листок темно-зеленый, затем он увидел, что асфальт серебристо-серый, горизонт уже светло-голубой, а крыши чистые, черепично-красные.

Он улыбнулся, собрал все эти краски и вернулся домой.

Он снова пишет. Он снова счастлив.

Самая длинная ночь

Это случилось в ночь с 21 на 22 декабря. Ночь была длинная-предлнная. Она стала казаться бесконечной. По городу поползла сплетня, страшнее самой ночи. Ее Гадкое Ползучество Сплетня: «Ночь не кончится... ночь не кончится... ночь никогда не кончится...»

Устало мигали фонари, потрескивали и горбились языки огней. Электричество было на исходе. А кому же тогда светить и гореть, а значит, и сопротивляться...

Был отдан приказ: собраться всем на главном стадионе и обсудить создавшееся положение.

Всем, Всем, Всем... замигало на стадионе световое табло, передавая приказ, и эта весть треском электрических разрядов молниеносно распространилась по городу.

Первыми на стадион прибыли уличные фонари, покачивая головами-лампами, старые и модерновые с так называемым дневным светом, которого они, кстати, сами стыдились и между собой называли покойницким. За ними прискакали модницы — настольные лампы в разноцветных мини-абажурах. Притащились с киностудии огромные «диги», целыми семьями, со своими «бабками» и «бебиками», они трещали и шипели остатками графитных углей, волоча за собой толстые кабели, без которых они никогда и нигде не появлялись. Примчались на стадион автомобильные фары, тараща свои глаза.

А приглашенные все прибывали и прибывали, стадион сверкал и переливался тысячью огней. Кого здесь только не было!

Около главной трибуны примостился маяк, огромный, апоплексически красный от натуги, ведь пришлось тащить с собой на стадион и старуху-башню. С ним рядом — его брат, тоже маяк. С детства его мучила наследственная болезнь маяков — мигание.

Коптила небо неумытая керосиновая лампа, дочь известной в городе керосинки, — ее еще с вечера накачали, — убеждала всех, что она, мол, никогда не изменяла своему примусу, и, мол, взорвался он совсем не поэтому. Карманный фонарик носился по всему полю, путаясь между основаниями и треногами, пока его батарейка не села, и тогда он угомонился.

Стеариновая свеча примостилась около военного прожектора, она таяла от любви, обливаясь стеариновыми слезами, а он тупо уставился в небо и молчал: не переносил женских слез. Засиженная мухами шестисвечевая лампочка ругалась на чем свет стоит. Два светофора безуспешно пытались навести порядок, а новые все прибывали и прибывали, не было только вечного огня, но на него никто не обижался, все понимали — он на вечном посту.

Говорили и кричали одновременно, ораторы уже осипли, каждый жаловался на свою беду, кто — на перекаливание волосков, у кого лопнули стекла, уже троих отнесли в медпункт с коротким замыканием.

Только квадратные темно-красные огни из кинотеатров с надписями «вход» и «выход» молчали. Они у себя на работе такого насмотрелись, что их уже ничем нельзя было удивить.

И вдруг в разгар всеобщего волнения на световом табло стадиона вспыхнули первые лучи Солнца! Все стихли.

Медленно после тяжелой борьбы всходило Солнце. Старое доброе Солнце, дружившее еще с Маяковским. Оно не стонало и не паниковало, оно боролось. И победило. И сейчас оно грустно улыбалось, распрямляя свои лучи. И всем стало немножко стыдно за свое малодушие. Все стали гаснуть и расходиться со стадиона, давая себе слово всегда бороться до конца.

Утром

— Весна, весна, — раскаркалась старая ворона, — ну что вы все зачирикали! Все равно все состаритесь, и перья выпадут рано или поздно. Как будто осень не придет, и зимы не будет.

— Гм... — хмыкнула старая лошадь и посмотрела на ворону, хотела было сказать, что весна — это зеленые луга, любовь...

Но ее согрели кнутом: когда ты в оглоблях, то не философствуй. И она пошла дальше.

А ворона взмахнула крыльями и опустилась на дорогу к еще теплому завтраку.

Кошка

Кошка с полосатым хвостом сказала Великой Богине: «Пожалуйста, очень прошу, Великая Богиня, ты можешь все, сделай меня женщиной! Мне так этого хочется!»

И Великая Богиня сказала: «Сделать это не трудно, трудно любить, а женщина, если она не умеет любить, перестает быть женщиной».

«Я буду, буду любить!» — поклялась кошка с полосатым хвостом.

«Ладно! — сказала Великая Богиня. — Раз! Два! Три!»

И кошка превратилась в женщину.

Она полюбила. Он был красивый и высокий, и у него были светлые волосы, потому что он был такой высокий, что головой касался солнца.

Он тоже полюбил кошку.

Но когда он хотел ее поцеловать, случилось несчастье. В углу промелькнула мышь!

И кошка забыла, что она уже не кошка, бросилась на мышь и... опять стала обычновенной кошкой с полосатым хвостом.

А он? Что мог сделать он? Он ушел.

Он был высокий и красивый, и у него были светлые волосы, потому что он был такой высокий, что головой касался солнца.

Долго плакала кошка, но Великая Богиня была неумолима. Она ведь сама была женщина.

Первая строчка

Ничего не выходило. Срочно нужна была юмореска, новелла или что-то в этом духе. Дал себе слово написать и...

В голове ничего такого, чтобы потом можно было сказать: «Ну как, старики, годится?»

... Так про что же, а? Может, про цирк?

«Выходит клоун и обращается к зрителям: "Сейчас, дорогие друзья, для вас совершенно новая шутка!" А в это время тигры начинают есть своего дрессировщика».

Нет, за это редактор меня самого съест.

А может, что-то сатирическое? Дело, например, происходит в оранжерее... Начать так: «Как хороши, как свежи были розы...» и вдруг кто-то вбегает и кричит: «Господа, к нам едет ревизор!..» Нет, кажется, это где-то у кого-то было.

И вдруг вбегает ко мне старый друг и кричит: «Есть идея!»

— Какая?!

— Сколько месяцев мы не были дома?

— Восемь.

Я внимательно посмотрел на него и все понял.

Взял чистый лист:

«Дорогая мама, здравствуй, прости, что так давно не писал...»

Мой литературный дебют

Короткие новеллы сейчас в моде. Я и написал свое первое произведение — короткую новеллу. Такую:

«ВСТРЕЧА»

«В это раннее утро она бежала к нему навстречу, раскинув руки. Она обняла его и сказала: "Ты мой!"

Над ними цвело солнце».

Я отнес свое произведение в редакцию молодежного журнала «Прыть». Редактор — с бородой, в очках, лет двадцати, долго и внимательно читал мою миниатюру. — «Ну что, старишечка, неплохо. «Встреча» — это здорово! Просто какая-то повестуха. Но ты понимаешь, старишок, сейчас так не пишут. Сейчас пишут коротко, сжато, как... хм, как... ну, в общем, ты понял. Отсекай все лишнее, не жалей себя. Только главное. И давай, приходи, старишок».

Я пошел домой и стал отсекать. «Начнем», — сказал я себе.

«ВСТРЕЧА»

«В это раннее утро». Стоп. Что значит «раннее», что — утро бывает позднее? Долой! — «Она бежала к нему навстречу, раскинув руки». Стоп. Что значит «к нему»? А к кому же еще, ясно и так. Потом «раскинув руки». Как будто можно на бегу раскинуть еще что-нибудь. Вычеркиваем. Дальше. «Ты мой!» Не могла же она сказать: «Он мой!» А если выбрасываем «ты», то причем здесь «мой»? Кого или что мыть? «Над ними» — нет, мне это нравится! Будто можно, чтобы солнце цвело «под ними».

На утро я принес редактору следующее:

«ВСТРЕЧА»

«В это утро она бежала. Она обняла его. Цвело солнце». — «Дед, неплохо. И название есть, — сказал редактор. — Но есть длинноты, украшения. Понимаешь, цветы могут одуванчики, кактусы, орхидеи, лопухи, а тут солнце! Старайся меньше объяснять, доверяй нашему читателю, старику».

Я снова взялся за перо. Ничего не объяснять, что он, дурак, читатель наш, старики-то наши? Вот как:

«ВСТРЕЧА»

«Утро. Она бежала».

Потом я подумал: «она бежала», а он что, стоял, что ли? Коротко. Сильно. Ничего лишнего.

«ВСТРЕЧА»

«Утро».

А? А может так: «Утро» или «УТ». Нет, нужно «у». Я принес редактору рукопись и положил на стол:

«ВСТРЕЧА»

— Дедусь, ты знаешь, это звучит. Но много, много! «У» — это и первый лепет дитя, «У» — и утро страны, «У» — и гудок паровоза, и угроза агрессора — «У». Давай, работай, дедуля.

Я заплакал и пошел домой сокращать «У».

Нарисованный

Есть один художник, который нарисовал меня.

И теперь я живу.

Нарисованный.

И там и тут. На бумаге и здесь, где-то между осенью и зимой. И где я настоящий?

Я заметил, что не все у меня хорошо получается правой рукой, раньше я думал это потому, что я левша, но теперь я вижу, тебе не удалась на рисунке моя правая рука. Вот в чем дело.

И еще я стал тоньше чувствовать, меньше грубить, в этом виноваты твои тонкие линии. Я живой или нарисованный?..

Я, твой нарисованный, — живой.

И даже смешно, не знаю, как сказать: ты меня нарисовала или нарисовал.

Потому что ты художник, значит, ты нарисовал, но ты женщина, и без тебя я не живой, мертвый, как нарисованный.

Очень прошу, пожалуйста, подправь мою правую руку.

Новое течение

Это случилось, когда расклеенные по городу объявления с приглашением на работу на вокзал приобрели цвет сентябрьских кленовых листьев.

Посудите сами: кто в наше время, время всяческих незаконченных образований, пойдет на разгрузку вагонов? Смешно. И вагоны простоявали.

Ранним утром в кабинет председателя горисполкома вошли двое. Один был известный в городе художественный руководитель местного драмтеатра, второй был неизвестный молодой человек с известной физиономией.

— Мефистофелев, драматург, — представился молодой.

— Мы вот по какому вопросу, Иван Павлович, — обратился режиссер к председателю, — Сербан Урзульевич Мефистофелев, наш драматург, предложил любопытную вещицу. В городе нехватка рабочей силы, вагоны простоявают, и Мефистофелев написал пьеску, хе-хе, — «Эй ты, грузчик!»

Очень современная темка.

— Ну, играйте, мы посмотрим, — любезно заулыбался Иван Павлович. Мефистофелев явно производил впечатление своей бородкой. — Мы поддержим.

— Но тут идеяка, Иван Павлович, реализм и только реализм, мы хотим и сыграть и разгрузить — так сказать, метод прямого реализма. Сыграть спектакль прямо на вокзале.

Представляете, — глаза режиссера заблестели по-мефистофелевски, — зрители располагаются на двух перронах. Соорудить места не трудно, в 7 часов после третьего гудка начинается спектакль. Оркестр, расположившийся в комнате «Матери и ребенка», начинает увертюру: «Как родная меня мать...»

Освещение вокзала отличное, диспетчер дает зеленый свет, и на первый путь прибывает один из ваших неразгруженных составов, его ведет нар. арт. СССР Р. Дыхалов. На вагонах расположились действующие лица.

— Пьеса остроюжетная, производственная, — сверкнув глазами, вставляет Мефистофелев.

— Да, — разгорается режиссер, — начинается разгрузка. Артисты театра с песней композитора Слабоухова на мои слова — Мефистофелев, к пианино! — Режиссер закатил глаза, и по кабинету разлилась задушевная:

Дрова, дрова, дрова,

Были и вы леса,

И вот на бревне, смотри,

Наши слова любви.

Разгружают вагон. Плынут бревна. Конфликт назревает, когда передовая грузчица — Катя, арт. Дубовых, влюбляется в прогульщика Сеньку, арт. Трезвых. На фоне разгрузки идет сцена около пивного ларька на перроне, где Сенька «распивает на троих».

— Ну это вы... — нахмурился Иван Павлович.

— Но в третьем действии, когда разгрузка подходит к концу, Сенька становится ударником, — вкрадчиво вставляет Мефистофелев.

— Да, да, — режиссер долго еще рисует совершенно необычные постановочные эффекты в спектакле «Эй ты, грузчик!»

Спектакль должен заканчиваться свадьбой Кати и Сеньки уже на пустых платформах состава. В 22 ч. 30 мин. молодоженов провожают в свадебное путешествие, они садятся в Московский экспресс, настоящий (артисты Дубовых и Трезвых едут до первой станции, оттуда возвращаются на машине), финал.

— А артисты, того... не устанут? — спросил Иван Павлович.

— Что вы! — прищурил глаза Мефистофелев, — артист в образе, он играет грузчика. Метод прямого реализма, абсолютно современно.

Иван Павлович вспомнил про неразгруженные составы и, вздохнув, сказал: «Добро!»

...На банкете в привокзальном ресторане уставшие, но счастливые артисты целовались с режиссером и качали Мефистофелева, который легко взлетал в воздух и иногда парил прямо по-настоящему.

...На улицах города свежие афиши. Ожидается премьера спектаклей: «Му, еще раз му» — на городской бойне и «Крупноблоочное сердце» — комедия на стройке.

Ходят слухи, что скоро приедут из Москвы изучать метод «прямого реализма».

День поэзии

Вчера Васька Шалымов привязал к шее бант, надел черную рубашку, не заправил ее в брюки и пошел в книжный магазин на углу Шереметьевской и Октябрьской продавать свои книги, потому что вчера был день поэзии, и все поэты в этот день должны были продавать свои книги. Ну, это вроде соревнований, — кто больше продаст.

Сначала Васька долго не хотел идти, он, мол, не член союза, но я ему сказал:

— Вась, ты — поэт или кто? — После этих слов Васька куда хочешь пойдет.

Мы уложили его книжки в три коробки из-под голландских ботинок — красивые такие коробки с золотыми разводами — и пошли в магазин.

В магазине было ужасно душно. Народу тьма.

Я устроил Ваську с коробками в углу, около витрины, а сам отправился по магазину, чтобы узнать, как идет продажа, и подсчитать, кто на каком месте и какие шансы у Васьки выйти в первую десятку.

Вначале вперед «вышел» здоровый парень с бородой — на шее собачья цепь и стихи он не

читал, а всхлипывал под гитару.

Потом его догнал такой худенький, обыкновенный, при галстуке, а продал на семь книжек больше.

Потом их обоих обошла поэтесса, вся в кружевах, очки — по консервной банке.

Я стою, подсчитываю на бумажке, кто сколько продал, и вдруг смотрю: в углу около витрины — столпотворение. Это моего Ваську женщины на части разрывают, не протолкнешься, чувствую. Все рекорды по продаже бьет.

Время было без пятнадцати час, и я быстро выскочил из магазина, чтобы успеть в гастрономе прихватить чего-нибудь — отметить победу.

А когда я вернулся, увидел, что стоит Васька у книжного магазина растерзанный и очень грустный.

— Ни черта, — говорит, — они в поэзии не понимают, все спрашивали, какой размер и каблук высокий или низкий...

Долго мы еще потом сидели на этих голландских коробках.

Эх, люди! Вам бы только каблуки.

Праздники

Я люблю праздники.

В праздники можно многое из того, что нельзя себе позволить в будние дни.

Вспомните, наверное, такое с вами случалось: вы приходите к дорогому человеку и говорите:

— С Новым годом! — и она, конечно, понимает, что вы ей сказали: «Я вас люблю, вы для меня дороже жизни».

Праздники многое облегчают.

Ну, скажем, врываетесь вы к своей родной бабушке и с порога:

— Бабушка! Христос воскрес!

А бабушка смотрит на вашу праздничную физиономию и понимает, что вы уже расписались с соседской Нинкой, не окончив еще института.

И бабушка, вздохнув, отвечает:

— Воистину воскрес, — мол, подождали бы с детьми пока хоть.

Праздники, конечно, бывают не часто, но все-таки бывают, и если вы, как и я, не очень смелый человек, приберегите для себя:

«С Новым годом, я без вас не могу!»

«Да здравствует день шахтера, жду вас вечером».

«Троицын день, мама, я вернусь утром».

И самое простое и мудрое: «Добрый день, всего вам светлого!»

Дом

Наш светлый, огромный, как океанский корабль, дом плыл среди сосен; когда ветер раскачивал их, они скрипели, и темно-зеленые паруса то чуть приближались, то чуть-чуть удалялись от нашего белого корабля, обнажая холмистый горизонт и другие далекие корабли, на которых люди плыли по Земле.

На нашем корабле жили чудесные люди. Главное, что большинство из них умело волноваться. А это очень важно — уметь волноваться. Волновалась перед каждым концертом Наденька и успокаивалась, счастливая приезжала вечером с цветами и со своей скрипкой. Счастливая, готовая к новым волнениям.

Нил Нилыч из 7-ой квартиры курил по две пачки «Беломора» в день, когда у него на заводе шла рекордная плавка.

Леонид с четвертого этажа, любимец всех наших мальчишек, становился грустным и решительным, когда нужно было играть с ЦСКА, и всех убеждал, что он просто так, в общем... все... завтра будем... ну... да... не знаю.

За три недели до сдачи квартального плана начинал вздыхать экономист тов. Сергеенко.

Не волновался только один человек. Он жил на втором этаже, вовремя уходил на работу, вовремя приходил, отдыхал, делал все как все... и никогда не волновался.

Однажды я не выдержал. Мы встретились в подъезде нашего дома. Я остановил этого человека и, смущаясь, сказал: «Простите, пожалуйста, я заметил, что вы никогда не волнуетесь, вы всегда спокойны. Отчего это? Может быть, вам плохо, может быть, у вас несчастье?»

«Нет, — сказал человек, — у меня все в порядке».

«А разве можно жить и не переживать, не мучиться, не волноваться?»

«Ну чего ты заладил — волноваться, мучиться, посуди сам — указания у нас есть? Есть! Генеральная линия намечена. Инструкция тоже всегда есть! А ты волнуешься. Глупый ты еще. Недопонимаешь».

Он похлопал меня по плечу и совершенно спокойно, не волнуясь, ушел своей дорогой.

Хорошо бы он опоздал на наш корабль!

Робинзон

Василь Тимофеич жил на острове. Маленький, зеленый, необитаемый остров, в самом центре Марьиной Роши, в 12 проезде.

При каких обстоятельствах Василь Тимофеич потерпел крушение, никто не помнит, но известно, что произошло это во времена НЭПа.

Бывает, я захожу к Василь Тимофеичу.

— Здравствуйте, Василь Тимофеич, — кричу я с порога.

— Здоров! Здоров! — приветствует меня обрадованный Робинзон.

Я достаю любимую им бутылку «Кокура», и Василь Тимофеич уводит меня к тем далеким временам, когда он еще был «вольным матросом» и плавал куда хотел, но рано или поздно рассказ возвращается к моменту кораблекрушения.

Я знаю историю наизусть и все-таки каждый раз волнуюсь, берет за сердце.

А случилось это однажды вечером в двадцатых годах, когда какой-то портовый забулдыга предложил тогда еще молодому Васе диван генеральши Салтыковой. Да, да, дорогой читатель, диван самой генеральши Салтыковой.

Я прямо чувствую, как дрогнуло ваше сердце, но уймите волнение. Все впереди!

Предложили этот диван за 20 миллионов! Всего! То-то! А ведь диван генеральши Салтыковой — это же ясно дураку — 100 миллионов стоит! И не глядя!

Я должен перевести дух и сделать паузу, описав какой-нибудь пейзаж, ну, скажем, остров Василь Тимофеича.

Четыре бузины под окном, фанерный сортир во дворе и сарай для дров из горбыля — гордость Василь Тимофеича в трудные военные годы. Вот и все. А сам Робинзон всю жизнь делал набойки на туфли аборигенам близлежащих архипелагов, а иногда даже представителям далеких цивилизаций из центра. И ничего, были довольны.

Но вернемся к дивану.

Заплатив 20 миллионов в тот памятный вечер, Василь Тимофеич отгреб его на первом попавшемся извозчике на свой необитаемый остров, оставленный ему в наследство родителями.

И стал ждать. Ждать, когда придет время взять настоящую цену за диван.

Но мир вокруг то строил тракторы, то бушевал войнами, то изобретал телевизор, то вдруг отращивал длинные волосы и подрезал юбки — всякое бывало, а Василь Тимофеич ждал. Конечно, ему трудно, диван — это не трактор. И проклятый древесный жучок, и обивка порасползлась, и сколько сегодня, в 71 году, просить за диван, Василь Тимофеич точно не знает, ждет, когда время свое возьмет. Такая вещь даром не валяется.

Мы допиваем «Кокур», и, простившись с Василь Тимофеичем, я выхожу на улицу.

Вокруг острова стоят огромные кооперативные корабли, загруженные доверху телевизорами, холодильниками, стиральными машинами и поролоновыми матрацами. Мигает совсем рядом, над головой, Останкинский маяк, плывут по асфальтовым каналам моторные «Волги» — все обычно.

А рядом живет наш добровольный Робинзон с диваном вместо Пятницы. А мы еще говорим, что мало на свете чудес.

Знак плюс

В нашей жизни мы повсюду сталкиваемся с рекламой: самой разной, в самых неожиданных местах.

По радио и телевидению, на заборах, стенах, а порой даже на небе и, кажется, придуманы все способы, коими можно нас убедить: пить или не пить, курить или не курить, пользоваться и хранить, звонить и летать, посещать, отдохнуть, выгодно, удобно, питательно, вкусно, дешево, полезно, быстро, безопасно и вовремя.

Кажется, ничем нельзя нас удивить, но сегодня утром я вдруг увидел совершенно потрясающую рекламу: у нас во дворе, в углу, на свежевыкрашенной стене гаража было мелом написано: «Витька + Люда = любовь». Эта реклама не убеждала, не звала, не напоминала, но она сообщала и раскрывала великую тайну, над которой бьются поэты и философы. Тайну возникновения любви.

Именно плюс. Не расчетливый минус (кто больше), не корыстное умножение (на сколько раз), не мелочное деление (дающее только часть), а плюс, безоглядный, щедрый, соединяющий двух обыкновенных людей, дает фантастическую сумму — любовь.

Пользуйтесь знаком плюс.

Я сбегал домой за мелом и написал на другой стороне гаража: «Ленька плюс...» и вот тут я задумался. Конечно, все правильно: реклама есть реклама и она не отвечает за каждого в отдельности.

Вечером я снова пошел в угол двора посмотреть на гараж. Я думал: а вдруг...

Возле гаража хлопотал хозяин, еще молодой, но рано повзрослевший.

— Завидуешь, небось? — сказал он, громыхая замками.

— Да, очень, — ответил я и обошел гараж со всех сторон, но он был свежевымытый и скучный, как хозяин.

Диалог

Пепельница отскочила от головы мужа и разбила вазу.

Причина: муж высказал мысль о том, что в нашей стране нервы тоже лечат бесплатно.

Кофейник угодил в бедро и разбередил старую рану.

Причина: идея поносить новую шубу еще некоторое время сама по себе неплоха, однако...

Студень в чашке впечатался прямо в грудь, не защищенную халатом, и кусочки студня, сдобренные хренком, поползли по животу.

Молодость не совсем еще загублена, показалось мужу.

Конечно же, все уладится, все будет хорошо. Нехорошо только от горчицы, влетевшей в ухо.

Остались лишь предметы, которые или невозможно оторвать от пола, или они не обладают аэродинамическими свойствами.

Говорят, в Японии выпускают сейчас не только миниатюрные приемники, но и миниатюрные пылесосы, холодильники и швейные машины.

Живут же люди!

Не обижайте человека

Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А вдруг он Моцарт? К тому же еще не успевший ничего написать, даже «Турецкий марш». Вы его обидите — он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, потом другой, и на свете будет меньше прекрасной музыки, меньше светлых чувств и мыслей, а значит, и меньше хороших людей.

Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек — Моцарт, и все же не надо: а вдруг...

Не обижайте человека, не надо.

Вы такие же, как он.

Берегите друг друга, люди! * * *

Талант: Всегда тревожно

Самое страшное: Благополучие

Доверие: Нельзя доверять ответственных постов людям без юмора

Любовь: Пришел. Увидел. Сдался

Встреча: Чистая душа — вытирайте ноги

Свет: От фонаря не светло, если он под глазом

Молодость: Жизнеутверждающие планы и надежды

Самое любимое: Море. Осень. Ван Гог

Престижность профессии: Вратари бывают великими, портье — никогда

Да и нет: Чтобы сказать «нет», надо иметь больше таланта, чем говорить «да»

Слабости: Им можно предаваться всю жизнь

Расставание: Уходя, не гаси свет в чужой душе.